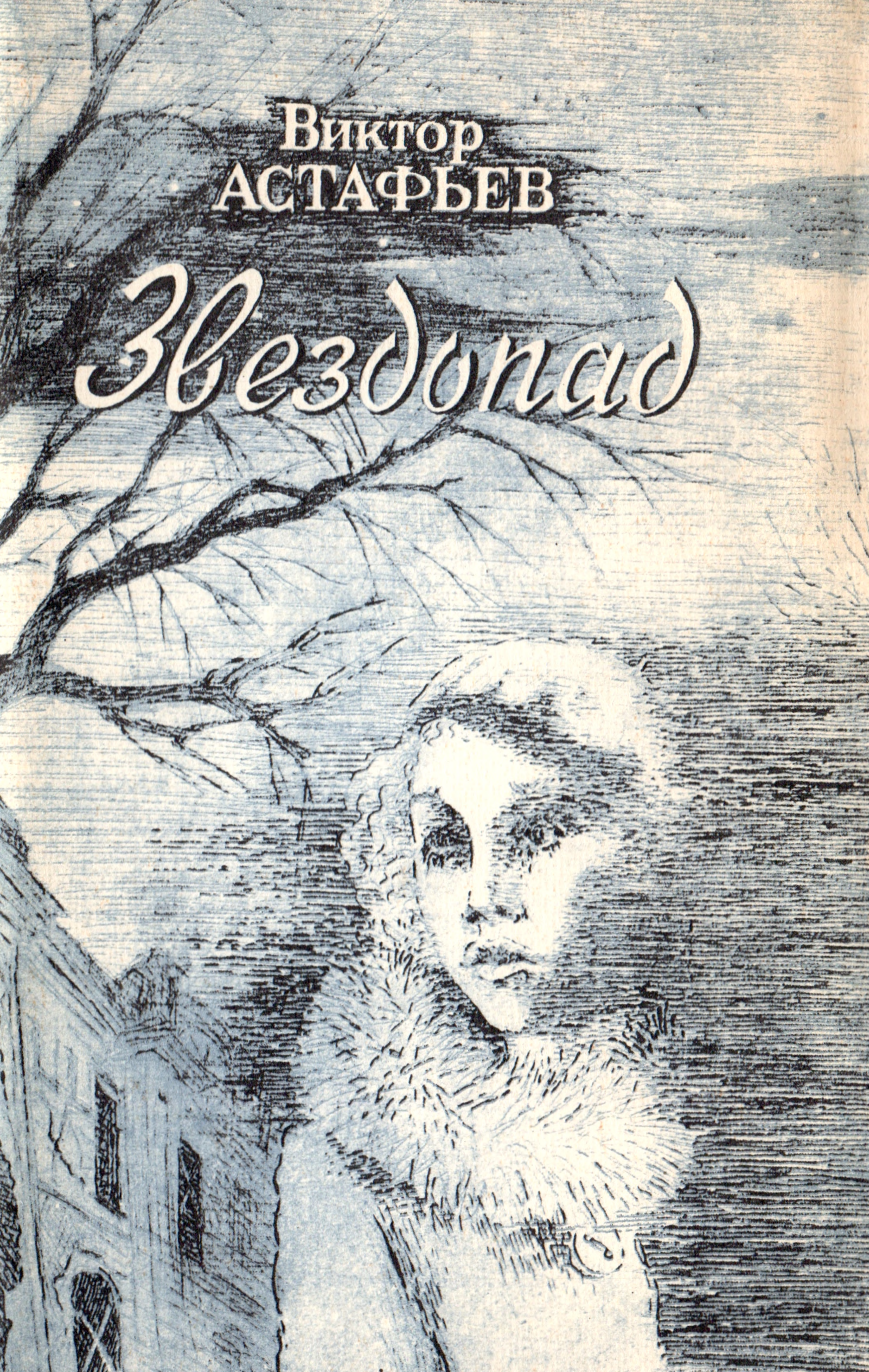

Виктор
АСТАФЬЕВ
Звездопад

Виктор
АСТАФЬЕВ

ЗВЕЗДОПАД

ПОВЕСТЬ

Москва
«Современник»
1984

Р2
А91

Астафьев В. П.

А91 Звездопад: Повесть. — М.: Современник, 1984. — 80 с.

В пер.: 25 коп.

Повесть «Звездопад» известного советского писателя, лауреата Государственной премии СССР Виктора Астафьева проникнута высоким чувством товарищества, дружбы молодых людей, жизнь которых была опалена огнем Великой Отечественной войны. Произведение наполнено непреходящей любовью советского человека к родной земле, за счастье, за мирную жизнь которой ему довелось сражаться с жестоким врагом.

А $\frac{4702010200 - 149}{М106(03) - 84}$ без объявл.

ББК84Р7
Р2

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

ЗВЕЗДОПАД

Повесть

Редактор Ю. Бондарев
Художник Е. Андреева
Художественный редактор Г. Саленков
Технический редактор Л. Дунаева
Корректоры И. Рудакова, Т. Люборец

ИБ № 3803

Сдано в набор 17.01.84. Подписано к печати 21.03.84. Формат 84х108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 4,2. Усл. краск.-отт. 4,34. Уч.-изд. л. 4,38. Тираж 1 200 000 экз. Заказ 302. Цена 25 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказала бабушка. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему».

Каждое сердце обновляет ее...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в начальной школе, и возле нее был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Осталась одна проходная будка, где дежурил вахтер и принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так и буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект, «пикировали» в город мимо вахтера, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание и горели уши. Тогда еще не было в ходу слова «пошляки», и оттого, стало быть, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом, несколько раз подряд? Если не приходилось — и не надо. Это очень мучительно быть несколько раз под наркозом.

Я, помню, был маленький и играл с ребятами на сеновале. Они бросили на меня охапку сена, навалились, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали меня. А когда отпустили, я долго был как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз — вдох, два — выдох. Потом станет душно и захочется крикнуть, рвануться, вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванешься, и крикнешь. Рванешься — это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь — чуть слышным шепотом.

Но неведомая сила внезапно вздымет тебя с операционного стола и бросит куда-то в бесконечную темноту, и летишь в глубь ее, как звездочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И все.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя не существуешь.

Я почему-то думаю — так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Минуло больше двадцати лет, а меня душит запахом больницы, в особенности хлороформом. Вот поэтому я не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось все, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски сцепления в двигателе подсоединялись один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова все отдалялось, проваливалось. Но вот я еще раз почувствовал, что мне душно, что я лежу, и кругом тишина, и только пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел туда, боясь закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто газетным абажуром, и я постепенно разглядел и увидел, что абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Она в белом халате, поверх воротничка вроде бы темнела косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на ее остренькие плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. А я смотрел на нее. Мне хотелось воды, чтобы смыть из горла тошноту, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее и хотелось плакать. Я ведь был все равно что захмелелый, а хмельные русские люди всегда почему-то плачут или буянят.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость и оттого, что лампа вот горит, и что вот девушка читает, и что я снова вижу все это, вернувшись невесть откуда. И, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвел глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она пошла ко мне. Я все слышал, но маскировался, сам не знаю почему.

Она склонилась надо мной. И тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, изогнутые ресницы, слегка припухлую, нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой в самом деле была повязана цветная косынка. Нет, вру. Она не повязана была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна пуговица на халате была пришита черными полинявшими нитками. И еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка — двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я все, все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был еще какой-то свет, который озарил мне всю ее!

— Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

— Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потянулся к стакану, но девушка отстранила мою руку,

ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она спросила:

— Вам дать снотворный?

— Не, — испугался я, застигнутый врасплох этим предложением, — я не хочу спать. — И, чего-то стесняясь, добавил: — Я уже наспался...

— Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая прийти в любую секунду ко мне. Но я не звал ее, не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир минометного расчета, все время невнятно командовал: «Огонь! Огонь!.. Зараза! Вот зараза! Вот за-ра-за... Во-о-о-за-ра-за-за-за...» Это уж всегда так: отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-нибудь неполадка стрясется: курок не спускается либо ствол змеевиком сделается. А у Рюрика, видать, мина в «самоваре» зависла, вот он и ругается. Мину из трубы веревочной петлей достают. Опасно! Вот он и ругается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но все равно проснешься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла, положила ладошку на мой горячий лоб и ровно бы всего меня накрыла этой прохладной и мягкой-мягкой ладошкой, потому что всему мне сделалось сразу легче, нервная дрожь, смятение, духота и покинутость оставили меня, отдалились, утихли.

— Ну, как вы? — снова спросила она.

И снова я сказал:

— Ничего... — Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. — Ничего, — повторил я и заметил, что она собирается снять ладошку с моего лба и уйти. Я сглотнул слюну и чуть шевельнул пальцами здоровой руки: — Вы... вы какую книжку читаете?

— «Ха́ос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

— Не-ет. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Это вроде бы тоже Ширванзаде?

— По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдет, и заторопился:

— А я много книжек читал. — Мне тут же стало жарко, и я пролепетал: — Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... — И разом возненавидел себя за такое хвастовство, и отвернулся к стене, и отрешенно ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдет и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я прислушался.

Да, она стояла рядом, и я, кажется, слышал ее дыхание.

— Вам, может, почитать? — спросила она.

— Ой, пожалуйста! — обрадовался я.

Девушка огляделась, покусала губу.

— Ах, нельзя! Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжелый. Знаете что, давайте лучше пошепчемся, а?

— Чего-о?

— Ну, поговорим шепотом.

— Давайте, — сразу переходя на шепот, стыдливо согласился я.

И мы заговорили шепотом.

— Вы откуда? — наклонилась она ко мне.

— Сибиряк я, красноярец.

— А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар — Красноярск.

— Ага, совпало, — тряхнул я головой и задал самый «смелый» вопрос: — Как вас зовут?

— Лида. А вас?

Я назвался.

— Ну вот мы и познакомились, — сказала она совсем уж тихо и отчего-то опечалилась.

А я лихорадочно соображал: не сделал ли опять что-нибудь неловкое?

— А теперь помолчим. Вам еще нельзя много разговаривать. Вам поспать бы.

— Нет, не буду, мне уже ничего... — запротестовал я, — хорошо.

— Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то уж, готово дело, расчувствовался. Она небось со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул, балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы.

Солдаты просыпались, кряхтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран, боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань — знакомая картина.

По окну криво текут капли. Ветка черная видна, вся усыпанная каплями, светлыми, круглыми. Два нахохленных воробья сидят на ветке — подачек ждут — крошки им из окна бросают.

У нас с поврежденным позвоночником лежит Афоня Антипин из города Бийска или из деревни, что под Бийском. Он без подушки лежит, на матрасе, набитом песком. Кровать его поставили так, чтоб хоть эту ветку видно было, воробьев — все радость какая-никакая.

За ним, так, чтоб можно было руками дотянуться и подать Антипину чего потребуется, глыбится грудью, брюхом и сыто хрюкает ноздрями старшина Гусаков, командир полковой разведки. Обе ноги у него в гипсе, желтые, гипсом вымазанные, пухлые ступни и пальцы с кривыми ногтями торчат из-под одеяла — оно ему коротко, одеяло-то, а он, скабрезник и посказитель, поясняет, что одеяло ночью с ног стягивается по причине воздействия хорошего харча и прелюбодейных сновидений.

Старшина спит здорово, но чуток, как птица, — разведчик! — и, учуяв шевеление в палате, хуркнул затяжно, прощально и сладко, завыл, открыв широченный зубатый рот. Зевая, он подтянулся, схватившись за спинку кровати, и глянул за окно:

— Прилетела стая воробушков на землю зерна клевать, ох и настала погодушка, растуды же туды ее мать! Ну, что, Афоня? — это он к Антипину обращается, они из одного взвода разведки, и ранило их в одном поиске, и, кажется, вернулось из поиска-то всего двое — Гусаков с перебитыми ногами выпер с нейтралки Антипина на себе. Что-то, видать, недодумал, недоглядел Гусаков, перед тем как идти в поиск, и вот всячески

выслуживается за всю перебитую группу перед Антипиным. Впрочем, если б на фронте можно было воевать без ошибок, мы бы уж давно в Берлине были.

— Шоб тому хвюреру! — ворчит вислоусый украинец, мой сосед, схватившись за полоску бинта, приклеенную к животу. — Шоб ему на тым свити було як мэни сейчас...

— Как дела? — спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший минометом.

— Живу, — коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

— Курить будешь? — опять полез с вопросом Рюрик.

— Без курева тошно.

— А я, братцы, закурю, — испрашивая у всех разом разрешения, сказал Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком, и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

Утренняя разминка продолжалась, шел ленивый трёп, и ожидание няни с тазом для умывания и позднее — завтрака.

— И что за сторона такая? Мокрень и мокрень! — жаловался старшине Антипин, делая передышки. — Текот и текот, текот и текот! Это ж весь тут отсыреешь. Вот бы меня домой — у нас уж мороз так мороз, жара так жара. И люди не подвидные, хоть в грубости, хоть в ласке нарастопашку. Меня бы домой, а?

Это повторяется изо дня в день — Антипин намекает старшине, чтобы тот выхлопотал эвакуацию в другой, желательно алтайский, госпиталь. Но дела Антипина плохи, ему нельзя и здесь-то шевелиться, даже много разговаривать нельзя, силы его убывают. Старшина Гусаков и все мы это знаем. Потому старшина увиливает от разговора с Антипиным. Он громко, с показной озороватостью, командует:

— Кому что снилось? Докладай!

— Дак чё может нам сниться? Война! Все она, проклятая...

— У меня опять мина в трубе зависала, мучился, мучился, — откликается из угла Рюрик.

— Выудили?

— Да уж и не помню.

Худой, непородистой щетиной обметанный мужичонка, из тех, чьей фамилии не узнаешь, имени и роду-племени тоже, пока он не помрет или что-нибудь выдающееся с ним не случится, вдруг подал робкий и смущенный голос от двери:

— А мне баба приснилась.— Мужичонка сделал паузу, и вся палата заинтересованно насторожилась.— Голая! Прет на меня, понимаешь, и грудя у ей, как мины... — Мужичонка опять прервался, сглотнул слюну.

— Нну-у!!! Дальше-то чего?! Дальше?..

— Дальше? Испугался я. Попятился...

— Э-э-эх! — простонал старшина Гусаков.—Везет мужикам! Хватался бы за мину-то, обезвреживал...

— Э-э, нет! — Мужичонка оживился. — Я — сапер! Сдуру за мину не схвачусь. А ну как и рванет!.. Я думаю: такой сон к выздоровленью, братцы, а? — повернул он разговор на серьезное направление.

— Знамо! Баба голая да еще чужая уж зазря не приснится!

Мы с Рюриком и рты пооткрывали — внимаем! Я и про боль, и про наркоз, и про все позабыл, но тут после долгих попыток все же уселся на кровати мой сосед, отстонался, отхныкался и укоризненно покачал головой:

— Ай-яй-яй! Парубки тут, диты неразумные, а воны таку шкоду размовляють!..

Старшина Гусаков сконфуженно крякнул, прокашлял скрипуче горло и, приподнявшись на локте, нашел меня взглядом:

— Ну как ты там, недорезанный парубок?

— Живу! — коротко, как и Рюрику, ответил я, не спуская глаз с лампы.

«Хорошо-о, — сердился я неизвестно отчего, — очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался — и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат, такими штучками не доймешь... Я, брат... Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого черта она горит днем? Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали: керосину не хватало. А тут, видали, палят!»

Я оперся здоровой рукой о кровать, сел, и все по-

шло передо мной кругом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, — девятнадцать...

Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда. Нос набок, рот большущий, уши круглые, как у соболя; в треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне все, и я о нем тоже — мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

— Дай докурить, — подсел я к Рюрику.

Он обкусил замусоленную цигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы.

— Раза два дерни, и все, довольно.

— Ладно.

Я затянулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя — он ранен в живот.

— Носит тебя тут, — заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперед.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра, кастелянша, няня и другой разный народ — все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру, зашли, чтобы подвергать их исправлению и вообще поменьше с ними церемониться. Впереди всей челяди, как сухонький, маленький полко-

водец Суворов, только без шпаги, Агния Васильевна — главный врач. У нее одной приветливое лицо, весело сверкает старомодное пенсне, да серые вихры из-под белой шапки торчат. Лицо, как она ни тужится делать его строгим, выражало давнее озорство, и я всегда думаю, с первого дня, как ее увидел, что как, наверно, любил ее какой-то парень! Без ума!

Агния Васильевна, может, угадала эти мои хорошие о ней мысли, потому что ко мне хорошо относится, но прикрывает такую свою слабость строгостью. Уж так она строга ко мне, так строга, что мне порой и смешно даже. Но только не сейчас.

Лидочки нет среди челяди, сопровождающей Агнию Васильевну. Жаль. Ну ладно. Я на Агнию Васильевну люблю смотреть. Я бы не знаю что для нее сделал, а она даже и не взглянет в мою сторону! Задрала рубаху на том мужичонке, которому баба голая приснилась, постучала, послушала и заключила:

— Вас жена так заморила или на фронте отощали? — И, не дожидаясь ответа, кинула через плечо сестре, изготовившейся писать: — Усиленное питание!

Ох уж эта Агния Васильевна! Ну до чего же я ее люблю! Да что там люблю, обожаю просто! Вот если б она это знала и посмотрела бы на меня!.. Хоть разок!.. Нет, не смотрит.

Азербайджанца Колю (у него другое имя, но трудное, и он махнул рукой: «А какой разница?! Пусть будит Коля!») слушает Агния Васильевна, слушает, щупает. Коле щекотно, и он ужимается, хихикает. А еще месяц назад богу, или — как он у них там? — аллаху, что ли, душу отдавал. Когда ему сделали операцию, он, обалдевший от наркоза, утром мостился и мостился на кровати, улыбаясь всем нам светлой такой улыбкой. «Ты что?» — с ужасом, придавленно вопросил кто-то наконец. «А я сичас на кина пойду!» — все так же лучезарно улыбаясь, заявил Коля. Ну, тут все мы застучали, забренчали чем только можно, прибежали санитарки и Колю к кровати привязали.

Агния Васильевна звонко завезла по Колиной спине ладонью:

— В палату выздоравливающих!

Что тут началось! Азербайджанец рубаху на себя, вскочил, глазами засверкал:

— Вот! Кто прав? Я прав! Вот! Мне Полше гавари-

ли: «Памрешь!» Украине гаварили: «Па-а-амрешь!!» и Левове, и Винице, и Киеве — «Памрешь! Памрешь! Памрешь!» Как памрешь? Пачиму памрешь? Ни согласный! Жить хачу! Вина пить хачу! Танцивать хачу! Девушек любить хачу! — Колю тут же осенило: — Дайте я вас па-сссы-ци-лую! — Раскинув руки, Коля двинулся вперед, но Агния Васильевна остановила его:

— Потом, потом! Придешь в процедурную и, сколько твоей душе будет угодно — целуй! Мы изготовимся, а сейчас обход. Не мешай!..

Говоря это, Агния Васильевна медленно двигалась к койке Антипина, и тон ее и выражение лица заметно менялись. Возле Антипина она пробыла недолго и все время уводила глаза. А он ловил ее взгляд, не умеющий и все-таки часто вынужденный врать.

— Вас переведут в другую палату, — сказала Агния Васильевна, помолчала. — В отдельную.

— В изолятор?

— Нет-нет, что вы! Просто в отдельную палату. Там тише, теплей. Удобней там...

Антипин все понял, попробовал бороться, отстоять еще что-то:

— Зачем же? Мне здесь хорошо. Ребята все свои... привык я к ним. Гусаков, товарищ старшина, однополчанин... ребятишки вон молоденькие! Веселые. Мне здесь глянется... — торопился Антипин, видя, что Агния Васильевна поднялась и собирается уходить от его койки.

В палате сделалось тихо. Так тихо при мне еще ни разу не было.

Агния Васильевна остановилась возле койки моего соседа.

— Ну, а тут все пече?

— Пече, доктор, ох, пече...

— Шов рубцуется нормально. В палату выздоравливающих! Она у нас самая холодная. Чтоб не пекло! — Что-то неприятное, свойственное только докторам и всем тем, кто может беспрепятственно властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами, появилось в голосе Агнии Васильевны. Я ее такую не любил, боялся и потому затаился под одеялом и не лыбился уж ей встречно.

— Та як же ж?.. Та ж болыть! И так пече. Так пече... — ныл мой сосед.

Но Агния Васильевна ровно бы и не слышала его. Сдернула с меня одеяло, послушала, велела показать язык.

— Покурил?! — Я опустил покаянно голову. — Разве от хлороформа мало обалдел? Могу добавить!

— Н-не! — испугался я. — Ну его!

Что-то похожее на улыбку тронуло сухие губы Агнии Васильевны, и пенсне сверкнуло приветливей.

— Ходить когда разрешите? — осмелел я.

— Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать — скоро, прыгать станешь — полежишь.

«Зависит, — раздраженно повторял я про себя. — Ну, зависит если, так полежу смирно. Не жалко».

Больше никакого разговору в палате не было. Деловито и молча закончив обход, Агния Васильевна удалилась из палаты и, комкая в руках фонендоскоп, что-то на ходу раздраженно сказала старшей сестре. Та плаксиво скривила губы и отвернулась.

Афоня Антипин накрылся с головой одеялом и лежал плоский, неслышный, будто и не было никого под одеялом.

Старшина Гусаков залез рукою под себя, шарил где-то в тяжелых гипсах или под гипсами, выудил из недр кровати плоскую грелку, брезгливо выплеснул в плевательницу лекарство из мензурки. Грелка заскрипела коровьим выменем, захлюпала влагой, и по палате угарно поплыл запах самогона.

— Афонь! Афонь! — потянул с Антипина одеяло старшина. — Тяпни для сугреву, а? Тяпни!..

Антипин не отзывался. Старшина опрокинул одну, другую, третью мензурку в себя, попробовал еще выдавить из грелки чего-нибудь, но больше даже не капало, и тогда он сдавил мензурку в руке так, что она хрустнула, и из пальцев старшины кровь брызнула на постель. Старшина, не замечая крови, мрачно матерился и спрашивал: где и как еще самогонки достать? Но этого никто не знал, и никто, кроме старшины, находящегося в недвижном состоянии и все же умудряющегося через нянь добывать горючку, сделать такое не сумел бы, таланту не хватило бы, и, как бы оправдываясь за эту нашу бесталанность, Рюрик угрюмо сказал:

— Руку обрезал.

Старшина глянул на руку, досадливо бросил: «А!» — и стал обмывать ее из графина над плевательницей.

Я не смог пролежать, как было велено, и двух дней. Однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кроватей, побрел к двери. Перед тем как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался прической — больше-то нечем было любоваться.

Я и забыл сказать, что с тех пор, как окончательно очнулся от наркоза, я занимался только своей прической. Случилось так, что до этого у меня никогда не было прически. В деревне бабушка меня стригла наголо ножницами; в детдоме всех нас чохом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше вершка дело не пошло —обкорнали. Ну а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать еще вот о чем. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведен из армейского госпиталя, где и начал отращивать чуб.

Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим. В общем, нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы все равно не шевелятся. Рука совсем-совсем не болит. Она висит, ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мертвая рука.

Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня единственная профессия — составитель поездов и семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки.

«А, наплевать! Не один я такой! Не пропаду! Не так страшен черт...»

Мне надо выбраться в коридор, ну просто позарез надо. А рука, глаз, нога — это все пустяки. И то, что я в одном белье, — тоже пустяки. Я обернул одеяло вокруг бедер, как римский патриций, и вот в такой юбке щеголяю. Все ребята ходят в таких же. Так прилично, не видно аккуратно завязанной бинтами прорехи, и теплее, и вообще удобно.

Главное — это моя прическа, мой, можно сказать, единственный козырь. Говорят еще, что я веселый и беззаботный парень. Очень веселый. Да, я люблю пошутить, знаю всякие там присказки. Парубок, словом!

Уверен, что если бы Лида поговорила со мной еще раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт

и про тому подобное, что она сразу бы сомлела и взоры наши и вздохи наши слились бы воедино!

Где я это вычитал? Сильно написано!

Вот я и в коридоре. Вспотел. Прислонился к стене. Горит всего одна лампа. Электростанция в Краснодаре еще не восстановлена. И вообще город живет еще трудно — это я знаю по разговорам.

В дальнем конце коридора наша «культурница» Ира беседует с раненым. Судя по всему, намечает план культмероприятий. Я начал продвигаться вдоль стены к этой парочке. Раненый с сожалением выпускает руку собеседницы и досадно смотрит на меня. Я же на него не смотрю. Мне не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестренка с огромными глазами, у которых белки блестят, как фарфоровые, и повыше черной завязки дышит ямочка, а спрашиваю совсем про другое:

— Ирочка! Который час?

Удивленная моим игривым тоном, Ирочка пожимает плечами, давая понять тем самым своему собеседнику, что она ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имеет, и говорит мне время. Я еще полюбопытствовал: когда завтра откроется библиотека? Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесет книги и, кроме того, доложит главврачу, как я шлялся без разрешения по коридору.

— Что ж, валяй! — вздохнул я и отправился в свою палату. По пути заглядывал во все открытые двери.

Будто через нейтралку «за языком» к противнику, крался я к своей койке по нашей, глухо затемненной палате, и все же за моей спиной раздался внятный шепот:

— И кто там оно ходит? Хлебом, винам просит? — Рюрик! Ну, не скроешься, не спрячешься от этого командующего «самоваром»!

— Охламон! — ругается Рюрик. — Сестрицу перевели в операционную. Операционная мадама с одним товарищем капитаном активно дружила! Огния свет Васильевна этого не любит!.. И еще учти — дежурит сестрица через сутки...

— По мне хоть через трои!..

— И зовут ее Лидкой.

— По мне хоть Маргариткой!..

— И ушивается возле нее тут лейтенантик один.

— По мне хоть генерал!

— Дурында! — взъелся и подскочил Рюрик. — Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик! Я в этих вопросах!..

— Когда и выучился?

Рюрик отвечает не сразу, напускает на себя важность, неспешно скручивает цигарку, ну все-все делает степенно, важно, а ведь такой же оголец, как и я, и, главное, знает ведь, что никакого действия этот солидный кураж на меня не производит, а вот поди ж ты, кочевряжится! Видать, такая уж порода у этих саратовских брехунов!

— У нас, у саратовских, знашь как?

— Ну, как? — гляжу я на него, ухмыляясь.

— А вот так! Родится малый — ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки, и пошло: «Я не знаю, как у вас, а у нас, в Саратове, девяноста лет старухи шухерят с ребятами!..» — Рюрик аж заподпрыгивал, аж задом об койку заколотил так, что пружины забрякали.

— Трепло! — сказал я, отобрал у него цигарку, дотянул, поглядел в кругленькое зеркальце, лежавшее на тумбочке Рюрика, поплевал на ладонь, приплюснул ерша на маковке и отправился «к себе» — обдумывать положение.

В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на стены керосиновые лампешки с большей частью побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол.

Копотно, людно. Пахнет горелой соляркой, карболкой, йодом, хлороформом, гниющим человеческим мясом и кровью.

Нынче этакое скопище запахов изысканно называют «букетом».

Но еще смешанней, еще запутанней и разнообразней коридорный трёп — этакая «мыслительная разминка» перед сном, короче — самая настоящая трепотня людей, без дела слоняющихся из угла в угол.

Вот возле школьной карты, истыканной спичками, изрисованной намусленными карандашами и разными чернилами, сошлись «стратеги». С видом если не заправского преподавателя академии, то хоть заместителя по политчасти, директора нашей школы ФЗО — че-

ловек в кальсонах и с желтушно цветущими глазами водит по карте пальцем:

— Главное препятствие на нашем пути: Висла и Одер. Героические наши войска уже один из этих рубежей одолели и ведут неукротимое давление с Сандомирского плацдарма — и лагерь хищного врага трещит по всем швам!..

Ему внимают, открывши рот, четверо контуженых — этим хоть что говори, они все слушают и ничего не понимают, а пытаются по губам угадать что к чему.

Интересное вот тоже свойство с людьми происходит — отшибет память человеку, и он впадет в детство, не только умственно, но и телесно, глядишь сзади: стоит школьник в кальсонах, шея тонкая, затылок как у петуха, даже и кость наружу, ручонки в кисти плоские, плечи узенькие, грудь запала.

«Как сюда ребятишки-то затесались?» — подумаешь. Но, глядь-поглядь, человек-то в морщинах, на пятках старые мозоли известью взялись, кожа с них сходит, от годов сутулится человек, а взгляд младенчески несмышленый, пытающийся что-то осознать... Сестры и няни зовут их: «Ребятишки, ребятишки...»

Два белоруса, поддерживая друг дружку, лепятся к стене возле карты. Ну, эти хоть кого слушать готовы и верить чему угодно. Оба они счастливые — недавно из освобожденного города Витебска впервые за три года письма получили! Плакали, обнимались, за сестрами гонялись, чтобы и их обнять и поцеловать. А те Агнии Васильевны боятся — еще подумает чего, с работы прогонит, недаром кличут ее Огнея! Огневка! Огнюха! С Огнюхой не забалуешься!

— Так то ж выходиць?.. — после долгого обдумывания задает добровольному политруку-политинформатору вопрос один из белорусов. — У тым логове скоро наши будуць?

Но не успевает «политинформатор» подтянуть кальсоны, сползающие со впалого живота, и ответить умственно, с достоинством на вопрос, как находится человек, вся и всех подвергающий сомнению.

— Держи хлебало шире! Он у себя даст прикурить, немец-то!

— То ж ня дай бог у конце войны загинуць! — простовато высказывает таимую многими про себя тревожную мысль второй белорус. — Ня дай бог!..

Махорочный дым слоями плавает по коридору. На подоконнике двое контуженых, еще не выучившихся говорить и писать, но уже наловчившихся играть в шашки «в Чапаева» — это когда щелчками выбивают строй шашек противника, сражаются на щелчки по лбу.

Давно они сражаются, у обоих уж лбы буграми вздулись, а их, дурачков, болельщики подначивают — они и рады стараться, раскраснелись, трясутся, с кулаками уж готовые друг на дружку пойти! Зрителям потеха!

Больше всего народу возле старшего сержанта Шестопалова. Вот уж травило так травило! За ним с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и зрителей — есть не давай, только бы Шестопалова слушать! Он забрался с ногами на кожаный, единственный в коридоре диван, и оттуда слышится:

— Купимо бугая?.. — Дальше уж ничего не слышно, народ просто валится друг на дружку со стоном и рыданиями.

Мимо пробегает, култыхая загипсованной рукой, паренек с подергивающимися шеей и глазом, умеющий шевелить ушами. Но сейчас ему не до фокуса с ушами: видать, разболелась рука или черви под гипсом завелись, а может, клопы залезли! Это уж беда, если клоп под гипс попадет, — ничем его, гада, оттуда не выгонишь! Попитается, попитается и тут же отдыхает, а потом опять жрет. Черви, те дурь выедают, и польза от них из-за этого, но когда их много разведется и рану они подчистят, тогда начинают мясо точить — тут уж скорее гипс надо снимать, иначе ревом реветь будешь! А реветь нельзя, кругом люди, и тоже больные.

Ах, сколько я уже видел всего и знаю! — мрачные мысли, проникшие было в мою голову, на которой заметно отрос чуб так, что я его начал уже набок зачесывать, отвлекла и разбила одна занимательная пара: угрюмый человек в короткой пижаме, с бровями, из которых вполне рукавицы вышли бы, если бы с толком кроить, и узкозадый, суетливый человечек с козлиной неряшливой бородкой — один из них будто бы подполковник, а другой — артист. Наверное, так оно и есть: говорит всегда этот, с бородкой, а тот слушает, не выражая никаких чувств ни слухом, ни видом.

Я увязался за этой парой — интересно же послушать артиста!

— Н-да-с! — семенил старичок, заплетаясь в одеяльной юбке. — И не спорьте! И не возражайте! — Тот, с бровями, не только не спорил и не возражал, он даже бровью-то своей меховой не повел! — Богиня Коринфская была поднята со дна моря неподалеку от ...ского голубого грота!

Вот черт, не расслышал! Какого грота? А все из-за Шестопалова: он опять чего-то траванул такое, что госпиталь закачался от гогота, и дежурная сестра выскочила из палаты со шприцем на изготовку и цыкнула:

— А ну, тихо! А то всех переколю!..

— И не спорьте, и не возражайте! — настаивал артист с бородкой. — Обычай целоваться не губами, а носами распространен не только среди африканских племен, но и на некоторых полинезийских островах, следовательно, миграции народов...

Нет, он, пожалуй, не артист, он ученый, пожалуй. А может, и артист и ученый сразу! А может, просто хлопуша и болтун, как Рюрик! Целоваться носами? Это как же? Тут и губами-то не знаешь, как это делается. В кино только и видал да в книжках читал. Но книжки и кино — что они? Искусство мертвое, и только! А вот если бы...

Я отправился в санпропускник, устроился возле ванной комнаты на колченогом диване и грянул во всю головушку:

Я — цыганский барон,
Я в цыганку влюблен!..

На мой голос явился «псих» из девятой палаты и закатил глаза:

— К-к-к-к...

— Пой, — сказал я мрачно. Я уже знал, что заики или те, кто перенес контузию и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят.

И «псих» запел:

— К-канчай му-му-узыку!

«Психами» мы звали контуженых. Их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженого, ни одной дырки, а он все равно что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную, — разве это человек? Все выбито, истреблено. Из него заново пытаются сделать

человека. Но удивительное дело, почти все контуженые болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот: я еще только начал петь, а он уже явился.

Поскольку многие из контуженых были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там, на поле боя, все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, который уже заметно подлечился и верховодил в девятой палате:

— Уйди! Я еще немного попою и перестану!

Иван, как птичка, свернул голову на плечо, глуповато уставился на меня печальными глазами и открыл рот.

Я отвернулся от него и грянул дальше:

Знает свод голубой,
Знает встречный любой,
Даже старый наш клен
Знает, как я влюблен...

Иван хихикнул и поддернул кальсоны.

Я замахнулся на него.

Лицо Ивана вытянулось и сделалось вовсе глупым. Я ушел в палату. Так и не дозвался я, кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось.

А в палате-то у нас перемена! Пока я шлялся да соло исполнял в санпропускнике, вместо Антипова Афони танкиста положили. С Сандомирского плацдарма партию раненых привезли. Танкист мечется, кричит: «Горим! Братцы, в нижний люк! Горим! Братцы, не бросайте!..» И бьется-бьется — того и гляди, с койки свалится. Нянь в госпитале не хватает, поэтому без уговоров и приказов возле послеоперационных и тяжелых добровольно дежурят те, кто пошел на поправку.

Эту ночь мы поделили с Рюриком. Он тоже начинает потихоньку бродить по палате, правда, еще за койки держится. Не спал также старшина Гусаков. В изолятор к Афоне его не допускают, самогонкой он не разжился — не на что самогонки купить: и часишки, и все, что было, уже позагонял.

Рюрик поздней ночью убрел в операционную, явился оттуда с Лидой — она что-то несла в мензурке. Я не видел Лиду с того самого раза, поспешно вскочил с кровати.

— Здрасте!

— Здравствуйте, здравствуйте! — мимоходом бросила она — и к Гусакову: — Ну что вы, ей-богу! У нас

на операции нет спирту, йодом обходимся. Нате вот...— и сунула ему склянку.

Гусаков, не глядя, что в ней, выплеснул содержимое в себя и скосоротился:

— Чё это? Тьфу!

Лида положила ладонь на лоб танкиста, и он сморился, обмяк под ее ладонью. Я-то знаю, помню прикосновение этой ладони! Лучше всякой процедуры. Может, даже лучше всякого лекарства эта маленькая прохладная ладонь.

— Ах, ребятишки, как я устала, если б вы знали! — пожаловалась Лида мне и Рюрику.— Такие дежурства иногда выпадают... такие!..

— К Афоне нельзя? — прохрипел Гусаков.

— Нельзя! Вам сказано!

— А он живой?

— Живой-живой! Господи! Что я вас, обманывать стану?!

Гусаков отвернул голову, скрипнул зубами, засыпая,— каким-то снотворным, видать, угомонила его Лида.

— Ну, я пойду, ребятишки! — вздохнула Лида и посидела еще маленько.— Не хулиганите тут без меня?

— Ангелы! — шепот Рюрика.

— Вы у меня молодцы! — Лида поочередно потрепала меня и Рюрика по отросшему волосью.— Хуже будет,— кивнула она на танкиста,— зовите. Свет совсем не тушите: во тьме раненые хуже себя чувствуют. Хотя что это я? Вы ведь все знаете,— и она еще раз дотронулась до меня и до Рюрика и пошла из палаты. И так пошла, что вот хоть верьте, хоть нет, я едва не разревелся: такая она была худенькая, усталая, такая жалостная — ну спасу нет никакого!

Вот так штука!

Оказывается, голос мой растревожил не одних контуженых! Он достиг ценителя и проповедника искусств — культурницы Ирочки, которая немедленно мобилизовала меня в самодеятельность. После недолгого сопротивления я согласился петь для народа, робко надеясь, что уж если не чубом, то песнями своими покорю кой-кого.

И вот стою я в палате выздоравливающих (здесь в прежние времена был школьный спортзал) и под баян пою грустную-грустную песню:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой.
Не надейся на тихую воду,
Острый камень лежит под водой...

Я и раньше участвовал в самодеятельности и даже приз однажды получил на районной олимпиаде — коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось. Тогда первоклассница Муська Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот все помню. И как пельмени всей оравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом; и как задом наперед кино показывали; и как курили в уборной и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы всегда грозились отлупить вас и не лупили, потому что в нашем детдоме был закон — не бить девчонок и тех, кто еще мал. А мы ведь драчуны были, ой, драчуны! И учиться нам все некогда было, и грешили с нами взрослые люди. Я все помню, все!

На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый, он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щеку и попал в рот. И Рюрик говорит, что проглотил его впопыхах. Врет, пожалуй. А может, и не врет. Попробуй узнай у саратовского, когда он врет и когда правду говорит?!

Рюрик лежит пробитой щекой на деке баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днем.

Злая буря шаланду качает.
Мать выходит и смотрит в окно
И любовь, и слезу посылает
На защиту сынка своего.

Слова песни мы с Рюриком восстанавливали по памяти и, по всей видимости, сильно изменили их в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос и чувство-

вал, что припев этот получается доверительней и что дурной совет давала мне Ирочка: петь громче, чем, мол, громче, тем шибчей проймет. И что она понимает в искусстве! Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурницы попала? Должность все-таки...

А баян ведет меня, требует не отставать.

Сразу солнце заплещется рыбкой,
И лучи серебром заблестят.
Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад...

Пока Рюрик пробегает проигрыш, я жду (надо повторить две последние строчки и закончить песню) и мысленно успеваю пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни, такой еще небольшой, такой нескладной и все-таки моей, дорогой мне жизни.

Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один. И встречать никто не будет. Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни не приспособленным...

Умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожалели обо мне все, и Лида, может, пожалела бы. И сказала бы, может: «Эх, парень-то был — и пел славно, и чуб у него был ничего...»

Я окидываю взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежат и сидят раненые. Молодые и старые, русские и нерусские, беззаботные и грустные, с прическами и без причесок, с костылями и без костылей, с руками и без рук, с ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушает мою песню.

Среди раненых рядом с офицером сидит Лида. Я уже давно перестал смотреть в ее сторону. И тушеваться перестал. Что мне до нее, когда вон сколько глаз смотрят на меня и чего-то ждут. Я сам раненый, я сам почти убитый, и потому я знаю, чего от меня ждут. И я обнадеживаю их, этих знакомых мне и незнакомых изувеченных людей:

Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад.

Я не пою, я почти говорю им это твердым голосом,

из которого исчезла моя, такая еще жиденькая печаль, печаль хотя и много уже повидавшего, но все же девятнадцатилетнего человека. И вижу, что мне поверили. Однорукие стучат о колени, лежащие колотят костылями об пол: аплодисменты.

Рюрик встает и чопорно раскланивается, как перед чужими, направо и налево. А мой глаз упрямо косит туда, где сидит Лида. Она делает несколько вежливых хлопков и обращает свои глазищи к молоденькому офицерику, который отрастил усики, форсистые черные усики. «Кому что нравится, конечно. Кому — чуб, а кому — усики», — мысленно глумлюсь я над этой парочкой и слышу заполошный шепот Рюрика:

— Поклонись, поклонись, дуб! Полагается!

— Иди ты! — Я выскочил из палаты.

Мне теперь все нипочем.

Да, на этот раз Рюрик не соврал: Лиду и в самом деле перевели в операционную, правда, будто бы временно, да мне-то не легче от этого. Я не мог видеть ее хотя бы издали. А если и видел, то проходил мимо нее с гордым видом и безразличным тоном бросал: «Здрасте».

Я пытался не замечать ее, и, когда она появлялась поблизости, я отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. Заложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил: «Прут наши, прут! Скоро по домам!» Или: «Краснодар — препаршивый городишко, и люди здесь больно уж какие-то гордые», — и, как дурачок, хохотал.

А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное летчицкое пальто и пошел провожать Лиду, то с горя закрутил с Капой из электрокабинета.

Пальто это меня доконало!

Опытные солдаты заводили знакомства с поварихами, а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяния.

Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, и меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу.

— Как на русской печке! — шептал я истомно.

Капа, черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала,— Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской этаким властным колдуном, этакой владычицей нездешнего царства, делая непринужденные, размашистые росчерки в карточках больных.

А я травил:

— Вот знаешь, Капынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке, на русской, задницу печешь, пот по всем членам текет, в трубе ветер воет: у-у-у-у-у! у-уууу — ну чисто волк и волк! И такая жуть кругом, аж тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так ще-окотно!..

Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем:

— Будешь хулиганить — отключу!

Э-э, нет, мне не хочется, чтобы меня отключили, — самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне Капа «по блату» из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как провожу ее домой, на глазах у Лиды и офицерика того, так будут знать! Вот только пальто летчицкого у меня нету, даже и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать...

— Хочешь, Капынь, стишок почитаю?—предлагаю я и удивляюсь самому себе: ну почему это вот с Капой могу трепаться как угодно, а как Лиду завижу — все заколодит: и ум, и язык, и все-все!

— Ну, где стишок-то? Давай! — Капа отложила ручку, кокетливо изогнула шейку, ждет.

— А-а, стишок-то? — Я шевелюсь в теплом кресле, устраиваюсь удобней и начинаю: «У лукоморья дуб срубили, златую цепь в торгсин снесли, кота на мясо истребили...»

Капа давно тут работает, всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный, про любовь, единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной, старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребро в драке с городской шпаной:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил...

Но к этой поре меня уж так размаривало, так во мне слабело и распускалось все, что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться, и я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий, мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится.

Так, кажется, ни разу и не дочитал я Капе стихотворение до конца. Да, по правде сказать, я до конца его и не помнил.

Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что, если врачи говорят «хорошо», — это значит плохо. Так оно и вышло.

Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:

— Больной, будем готовиться к операции.

— К какой опять?

— К обыкновенной.

— Так я готов. Режьте! Чего вам еще? Клизму мне не надо. Брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик...

Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза.

— Когда на операцию? — заторопился я.

— Завтра, в одиннадцать. — Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.

Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты.

А тут еще процедурная сестра Паня, лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток.

— Кто-то последние известия слушать будет! — возрадовался Рюрик. Ну что вот ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак: «Ну, погоди, гад, погоди!»

Лежу вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит и, как ни в чем не бывало, с ранеными болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных, окольных слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони Антипина в изоляторе неважные, и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, неразговорчив сделался.

Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с клизмой-то, но Рюрик — это ж человек какой? Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть.

— Ну, что слышно по радио, Михей?

— Наша берет! И рыло в крови!

— Вон ему маленько охладительного оставьте, — кивает головой Рюрик на койку моего соседа. — У него все пече.

Сосед починялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал, и взвыл горестно, бросив работу:

— И шо она, та кобылка, усе грае? Шо вона така вэсела?!

В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.

К одиннадцати часам я крепко-накрепко (чтоб не развязали) закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.

Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал Лиде какую-то команду. Она наклонилась ко мне с просящей улыбкой:

— Будем ровно и глубоко дышать, да?

Я тряхнул головой, и тут же на мое лицо обрушилась маска. Послушно, как обреченный, я вздохнул и сказал: «Раз!» Потом: «Два!» Потом: «Три!» Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды:

—Родненький, спи! Родненький, спи...

Затем голос главного хирурга:
— Почему больной не снял белья?
И еще чей-то:
— Глядите, как он подштанники-то бинтом прикрутил — не развязать.
И снова издали, и все тише, тише:
— Родненький, спи... Родненький, спи...

Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя прикручена была к кровати.

Возле меня сидел Рюрик.

— Ну здорово, Мишка-Михей! — ухмыльнулся до ушей Рюрик.

— Здравствуй, Урюк! — сказал я ему с детской радостью.

Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме.

— Отвяжи руку, — попросил я Рюрика. — Затекла. Бушевал я, что ли?

— Ой, бушевал! — откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. — В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора — одинаковы. Все кровососы!»

— Да ну?

— Пра! Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.

— Я что? Вот у меня дед был, тот колена загибал, так уж загибал!.. Вороны с неба валились кверху лапами! Как даст, так и готово!.. — Мне так хотелось говорить, вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек мое опьянелое озорство.

— Колена! Загибал! — передразнил он. — Посмотрел бы ты, как девушку ту загибало!..

— Какую девушку? — похолодел я и цапнул под одеялом — бинт на месте. Кальсоны прикручены будь здоров.

— Ту самую! Она около тебя так и этак, родненьким называла, а ты... Ребята в хохот. А она: «Человек, — говорит, — в невменяемом состоянии, и смеять-

ся, — говорит, — над ним подло... Подло! Подло!..» — И еще ногой топнула. Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил. В дверь заглядывал... В общем — концерт!

Я не успел ничего сказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату СНА. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.

— А ну, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.

Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим.

— Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, вы поглядите, поглядите на меня, — все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она.

И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:

— Лида!

— Что, родненький, что?

— Лида! — повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться: создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.

Лида послушала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. Если разговору нет, делом можно заняться.

— Та-ак, больше покоя, не курить, не дрыгаться лишка...

— Вы будете приходить теперь... ко мне?..

Она погладила меня ладошкой по лбу и тронула за чуб.

— А тебе хочется, чтоб я приходила?

— Ага.

— И ты не будешь больше ругаться?

— Нет.

Лида все еще перебирала пальцами мои волосы, и я боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни.

— Идти мне надо, Миша, — с озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть.

Я осторожно сжал ее пальцы:

— Посиди еще маленько, ну?

— Две минутки, ладно?

— Пять.

— Ну, хорошо, пять, — уступила она.

И мы просидели не пять, а, наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик и сообщил радостную весть: прибыл фотограф Изик Изикович Шумсмагер, и он, Рюрик, захватил на всю палату очередь.

На койках пошло шевеление. Рюрик в зеркальце глядеться взялся, прилизываться начал. Кавалер!

Меня он тоже тайком вывел во двор, и сначала я ничего не разобрал, а захлебнулся воздухом и голова моя кругом пошла. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы и снялись с Рюриком вроде бы как в обнимку, а на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше.

Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а Изик Изикович, держась за черную круглую заслонку, из-под которой обычно птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия:

— Левее! Левее! Тэ-э-экс! Минуточку! Одну минуточку... Подбородок выше! И не так грозно, не так грозно! Ви же, надеюсь, не дорогому фюреру будете карточку высылать? Ви маме высылать ее будете! А маму пугать не нужно. Мамы и бэз того напуганы. Внимание! Опля! Прошу следующего героя!

Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем ссуживал тот самый младший лейтенант, что провожал Лиду. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои перецеплялись, а у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим — Красной Звезды, и с медалями своими, заявляя каждому ранбольному: «С тебя пол-литра!» А те его отшивали: «Шибко пьяный будешь!..»

В нижней рубахе, в палатном, заношенном халате, усиками только отличимый от солдатни, младший лейтенант слонялся по двору, травил чего-то и зароптал только тогда, когда его гимнастерку попытались надеть на старшину Гусакова, потому что она затрещала по

швам, и младший лейтенант ужаснулся: в город не в чем спикировать будет!

Тут старшина Гусаков, которого вывезли на тележке, пытались поставить на ноги и подпереть плечом сзади, как шуганул услужливого подпорщика да как рявкнул на весь двор:

— Сымай так! Я со своей бабой пятерых ребят нажил! Я свою бабу обманывать не ж-желаю!.. Сымай, в три господа бога!..

Изик Изикович испугался, забегал, забормотал, дескать, он тут ни при чем, он готов отражать любую действительность... но все желают быть красивыми, и он делает их по возможности красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский... Не знаете такого? О-о, это был плодотворный писатель! Он написал много толстых книг! Так вот, даже Достоевский говорил, шо красота спасет мир, и хотя предначертание это не сбылось, будем надеяться — все же сбудется, хоть в какой-нибудь степени... Такой человек не может напрасно бросать такие слова на ветер...

Вся эта сыпучая и ласковая болтовня Изика Изиковича не подействовала на Гусакова — вышел он на карточке огромной белой глыбой с твердо сжатыми челюстями, и только награды, много наград, прицепленных к нижней рубахе, оживляли карточку и лежащего на тележке старшину.

А почему он озверел и таким голосом рявкнул — объяснилось тут же. Когда старшину везли по коридору на тележке, встречь ему выкатилась белая тележка из изолятора. Старшина попросил остановиться, приподнял на встречной тележке простыню и долго, пристально глядел под нее. Потом, как из пустого дупла, раздался его отдаленный, чужой голос:

— Как все просто! Один перекресток и две дороги: в наркомзем и в наркомздрав... — Неловко и грузно извернулся так, что затрещали на нем гипсы и посыпались крошки, припал к соседней тележке лицом и просипел задавленно: — Прости, Афоня! Не уберег... — Откинулся на свою тележку, махнул рукой уже вяло: везите, мол, кого куда положено...

Дня через два Рюрика перевели в большую палату и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Прибыла большая партия раненых, в послеоперационной палате нужны были места.

Мы здорово устроились с Рюриком за печкой-голландкой, поставив две кровати вплотную. Это был чуть затаенный, дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, не терпящими постороннего глаза: играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина.

Вот старший сержант Шестопалов пыхтит, за печку протискивается. А здесь и так уже теснотища — Рюрик с Колей-азербайджанцем в подкидного играют и лупят друг дружку картами по носам, с оттяжкой лупят. У Коли и без того носище, как у парохода, а тут еще Рюрик уличил его — мухлюет, азият лукавый! И ну ему нос набок всей колодой карт сшибать. Коля шмыгает носищем после каждого удара и смиренно оправдывается:

— Ми, васточные люди, ни можим не мухлевать в любви и в азартных играх. Наша душа восточная фантастическая!.. Шехерезаду знаешь? Васточный народ придумал!..

— А вот игру в русского дурака худо знаешь.

— Асва-ываю!

Шестопалов отгреб карты с тумбочки, выудил стакашек из-под кровати, налил до краев мутной жидкости, выпил, в себя вслушивается.

— А-а, милая! — шепчет он, прикрывая глаза.— Идет! Идет! Воскресе душа и возрадухося!..

Было кольцо золотое на правой руке Шестопалова, с «брыльянтом» — как он называл белую бусинку, впаянную в кольцо,— охолостела рука Шестопалова. Плеснув по половинке стакана Рюрику и Коле-азербайджанцу, Шестопалов утырил грелку под пояс кальсон и стал закуривать. Рюрик выпил, задохнулся, головой очумело потряс. Коля выпил — скривился.

— Это вина?! Приезжай на моюм родина, в Акстафа, я тебя такой вина налью! М-м-мых! — целует он щепоткой сложенные пальцы.— А этот вина клопов душить и штрафникам пить самий раз, чтобы умирать не боялись.

— Я и есть штрафник, может? — Мутнея взглядом, Шестопалов решает про себя: еще выпить или погодить? Внутренние его борения с самим собой можно угадать по лицу.

Рюрик последний раз врезал картами по носу Коли-азербайджанца, тот красно высморкался в плеватель-

ницу, пощупал осторожно нос и качнулся на Шестопалова, впавшего в угрюмость:

— Шту сыдыш? Шту ты сыдыш? Вина есть, он сыдыт! Сам ни хошь, гостю налывай, — тыкает он себя в грудь, — как пострадавшему!

Грелку они таки опорожнили. Шестопалов разохотился, вылез окном во двор и махнул на рынок задами госпиталя. А Рюрик с Колей-азербайджанцем продолжали сражение и изводили меня тем, что я вот пить бросил уже, скоро курить, поди-ко, брошу и вообще бог знает до чего могу докатиться по причине влюбленности.

В палату, как всегда, важно, как всегда, с улыбкой царицы вплыла сестра Паня. Я зашипел: «Полундра!» Ребята сразу карты спрятали, дым начали руками разгонять. Но Паня уж тут как тут, принюхивается, пошевеливая чистеньким носиком, и розовенькие ноздри ее вздрагивают, как у чуткой лесной зверюшки-соболюшки. Шестопалов от пышной, чистенькой Пани без ума. Не встречайся, говорит, в укромном месте! Не отвечаю, говорит, я за себя; могу еще раз, говорит, в штрафную угодить, а я уж, говорит, два раза в ней был...

— Пануша, сыграем бдурака! — предлагает Коля-азербайджанец сестре, переставшей улыбаться и подозрительно принюхивающейся.

— Я вот вам сыграю! Я вот вам сыграю!..

— Что такое? — Рюрик с Колей-азербайджанцем уставились друг на дружку с полным недоумением. «Ну, гады! Ну, артисты!» Я не удержался, прыснул и отвернул лицо к стене.

— Сивухой от вас прет, вот что такое!

— Ка-аааакой нух! Ц-цы-цы! — поражается Коля-азербайджанец. — Пануля, тебе с таким нухом шпиенов нада лавить!

— Шпионов! Я вот вас поймаю и ко главному потащу! — И неожиданно мне: — А тебе как не стыдно, Миша?! Такой хороший мальчик и связался с такими разложившимися типами!..

Она повернулась и уже без улыбки, в полном расстройстве покинула палату, а Рюрик упал на койку, задрал ноги так, что видно сделалось заплату на заду кальсон, и до слез, до рыданий хохотал, показывая на меня пальцем. И Коля-азербайджанец не отставал от

него. Они даже пытались что-то сказать насчет меня и не могли сказать, уморенные смехом.

Я завез тому и другому затрещину и отправился к Капе в электрокабинет, затем к массажистке, затем...

Как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать ее. Мало того что я донимал массажистку и заставлял ее выделывать с рукой разные штуковины, я и сам все время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда еще с трудом, держать цигарку. И еще, каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Я говорил себе: «вот осталось уже полсуток», «вот десять часов», «вот четыре часа», «вот час».

Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.

Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.

На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. И еще на ней был беретик, освеженный акрихином. Ей очень шло желтое.

Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лида шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком.

Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом не обремененного никакими заботами парня шел насвистывая. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее:

— О-о, Лида! Мое почтенье! Как ваше ничего поживает?

— Здравствуй, Миша! Ничего мое поживает ничего, — и улыбалась усталой и доброй улыбкой.

Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и

меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил:

— Заходи в гости, когда захочется.

— Хорошо, зайду, если будет время.

Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки.

Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.

Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но за то, что эти сказки имели в общем-то схожее содержание, можно ручаться.

Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться, от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад. Вместо душегуба-блатняги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купеческой дочери — фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как во всякой доброй сказке: женились, справляли свадьбу. Я там был, мед пил и так далее.

Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем.

В госпитале возбуждение, суета, и сумятица — идет подготовка к Новому году. Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института — давать концерт. Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А швейников завербо-

вал Шестопалов, давно проникший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и другим госпиталям.

Праздник разбит на два этапа: сперва студенты концерт дадут, а назавтра швейники прибудут и чего-то принесут, — намекал Шестопалов.

В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду:

— Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я н-не выдержу, н-не выдержу! Я сама попаду в палату контуженых!..

Рояль в коридор выкатили. Все кому не лень бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ранбольных и, раскудлаченная, потная, летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, всюду и везде дает указания и уверяет руководство и себя, что она таки не выдержит, таки угодит к психам.

Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Коринфскую и про то, как целуются носами (умора, ей-богу!), смущенно, дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженых: вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет.

— Знаю, знаю! — оборвала его Ирочка. — Сейчас, между прочим, у всех нервы! И у меня нервы! Распустились, понимаешь!..

Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился в девятую палату.

И вот наступил долгожданный день! Лежачих вынесли на носилках, повыкатывали на тележках, и пошла музыка.

Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой дул в трубу, третий — в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну.

Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. Из санпропускника явился на костылях одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент в латанной на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конфэ-

рансьэ», глянув на «фрица», пожал плечами и спросил у всех нас:

— А это, простите, что за фигура? — И повернулся к «фрицу»: — Мы, любезный, кажется, вас сюда не звали?

Хохот прокатился по коридору и разом замер — все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно.

— С-под Сталинграда пробираюсь! — жалостливо заныл «фриц». — Щоб об любимого фюрера эти костыли обломать!..

Ну, тут уж все грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул, и заговорили:

— Во дает!

— А нога-то, нога-то?! Крива!

— Дойдешь ли до Берлина-то?

— Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда! — усмехнулся конферансье.

— Умнель! Умнель! — согласился «фриц» и чего-то еще хотел сказать, но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время вожжается с Шестопаловым, и вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и оттого перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке:

— Поумнел?! Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу!..

— Говори, стерьва, не то мы тебе!.. — поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились.

Едва угомонили публику. «Фрицу» даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с «фрицем» дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сатирические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком «фрицу» под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел, здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло.

И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом!

В коридоре был полумрак, потому что горело возле

артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампешек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешанная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла жизнь, а какая — никто пока не знал.

Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время «Огонек», а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» — расстроенно думал я.

Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нет-нет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.

— Сидите, сидите, — тихо сказала Лида офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: — Чего же вам стоять, когда есть свободное место.

Она, очевидно, по моему взгляду или еще по чему догадалась, что, если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.

Я тоже напряженно слушая оркестр и не отрываясь смотрел на него.

Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате, а теперь вот и по скамейке соседа. Везет мне!

— Шо я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га? — не выдержал он.

— Оловянный! — рыкнул я.

«Дэрэвьяный» удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой и не стал больше ничего говорить.

В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:

— Л-любимая песня фронтовиков — «Дочурка»!

К роялю подошла улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:

Злится вьюга всю ночь, не смолкая,
Замело все дороги-пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Нежно Мишку прижавши к груди...

Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца-фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.

Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку». Иван прислонился спиной к дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась оцепенело Лида.

Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, как постепенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.

Это же заметили и санитарки, которым велено было бдить и в случае чего принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженого и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку — на свечу, рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку.

И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:

— Н-не ца-ца-пай-те! — И тут же высоко, как резинового, подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги.

Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженого о деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженых, и началось...

Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крик, стон, вой...

— А-а-а-а-а!

— Бомбят, что ли?!

— Уби-и-или-и-и-и! Ой, убили-и-и!

— Товарищи, товарищи!

— Больные, спокойно! Голубчики, спокойно! — взывала во тьме Агния Васильевна. Но ее никто не слышал и не слушал.

Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки.

— Кончай панику, в господа бога! — перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол, хрустнули на нем гипсы, голос оборвался.

Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей:

— Стой! Изувечат! Стой, говорю!

Она порывалась бежать.

— Да стой же ты!..

Кто-то ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах закружился огонь. Я охнул. Оседать начал.

— Миша, что с тобой?! — подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула: — Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?

Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Контуженый все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по мосластым спинам и по стриженым головам других контуженых, наговаривая им что-то умиротворяющее, баюкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды. Двоих солдат и старшину Гусакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами.

А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:

— Кровь?!

— Какая кровь? — изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. — Это твоя! Это твоя... Я слышала, как потекло по щеке. — И сильно потащила меня: — Скорей на перевязку, скорей...

Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить

кровь, некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Гусакова оживили нашатырным спиртом.

— Все это сикуха-культурница! Предупреждали же ее контуженые об музыке, предупреждали! — ругался старшина, и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности.

Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сестрам. Помогали и студенты-медики, Коля-азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось: «Миша-а! Мишка! Вы не видели Мишу?» Я еще и подумать не успел, что это обо мне, — мало ли Мишек на свете, как налетела на меня петухом Лида:

— Герой какой нашелся! Без перевязки ушел...

— Не шуми ты, Лидка, ничего мне не сделается.

— Да, не сделается, — сказала она, и губа у нее запрыгала. — Вон кровь-то лье-от! Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!

И я пошел на перевязку.

Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали — остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка — жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.

Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера с усиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой, и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Ну, это уж приду-

мали, пожалуй. У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.

Конечно, если бы услышал какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту, и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале.

Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа — «дэрэвьяного», Колю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт.

Рюрика тоже комиссовали домой — у него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и ждал какую-то окончательную бумагу. Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил:

— Ты хоть знаешь, где живет Лидка-то?

— На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.

— Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, — заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием.

Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные Рюриком дырки, надел тесные сапоги и предстал перед народом весь скованный, стесненный новым обмундированием.

— Ну как, ничего, братцы?

— Какой там ничего?! Гвардеец! Чистых кровей гвардеец!

— Нет, правда, братцы?

— Не верит! Да сегодня девки по Краснодару снопами валяться будут!

— Слухай, тэбе до артыстки трэба!

— На хрена сдалась ему артистка! Какой прок от нее! Он любую буфетчицу в таком параде зафалует!..

— Да ну вас! — совсем уж обалдевший от конфуза и счастья, махнул я рукой и подался из палаты. А вслед неслось:

— Ты там про природу долго не разговаривай! Небо, мол, видишь? Землю, мол, видишь? Ну и все...

— Выпей для храбрости!..

Эти научат! Опытный сплошь народ, особенно на языке. А все же кой-чему и обучили. Пользуясь советами «опытных» бойцов, я благополучно миновал все госпи-

тальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, которой вскорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером — и тут чего куда девалось: оробел, топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.

Я долго сидел на крыльце, слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.

— Вы чего-то потеряли, молодой человек?

— Червонец!

— Где потеряли-то?

— Там, — кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов; мне все как-то сделалось нипочем.

— А ищете червонец здесь оттого, что светлее? Я этот анекдот знаю.

Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить «домой» в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой.

— И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?

— Не знаю, — ответил я, впадая в уныние. — Еще посижу маленько, и тогда ясно станет.

— Что ясно-то?

— Все станет ясно.

— Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел! — нахмурилась женщина. — А ну марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина. — И она ушла.

Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точеными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши — скудновато для такой рамы.

Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать и во время оккупации проели с

матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома — это уже после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то от страха, не то еще от чего щелкала семечки, и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Словом, понесла урон от войны.

Ох, и дуреха же! Право дуреха! Спит и не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает небось.

Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, куда я пришел после ванны на перевязку, Агния Васильевна, эта до жуткости строгая Огния, сняв пенсне и близоруко щурясь, будто на бог весть какого «прынца», поглядела на меня и закудахтала так, будто золотое яичко снесла:

— Лидочка! Лидочка! Ты посмотри, какой у нас Миша-то стал!

Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я все-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.

Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду.

Она спала.

Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка.

— Ой, Миша! — Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями, икнула и засмеялась: — Ой, и правда Миша!

Лида схватила меня за чуб и принялась теребить его так, будто это не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче:

— Мишка! Пришел! Сам! Один! Нашел!.. — И все икала и смеялась. Вот уж воистину как у ребенка: то икота, то хохота! — Ой, Мишка, и ты сидел возле меня? Я никогда-никогда этого не забуду, Миша! — Она укусила губу, отвернулась и опять икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая, и беспомощная-беспомощная такая Лида была.

— Ты что? Ты что это?

— Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом: раны, кровь, смерти — и вот такое... Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю, и просыпаться не хочется. — Икота, слава богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб поломанный во рту ее мелькал веселой дыркой.

— Ты какая-то сегодня...

— Какая? — спросила она и по-ребячьи, локтем утерла лицо.

— Нервная, что ли?

— Ну уж и сказанул, — улыбнулась она сквозь слезы, которые дрожали на ресницах. — Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.

Оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны.

Но глаза наши сами собой встретились.

В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:

— Отвернись, Миша.

Я стиснул ее руку до хруста.

— Отвернись, родненький, — еще тише повторила она, — отвернись, лапушка... — Голос ее слабел, угасал. — Мама!.. — пропищала она.

Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на ди-

ван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать.

— Господи, да что же это за напасть?! Ты, Миша, удрал без разрешения? — голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула.

— Да! — сердито отозвался я.

— Молодчик! — совсем уже виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате.

А я как подскочил сзади, как цапнул ее под мышки да как зарычал лютым зверем — она аж шарахнулась, таз опрокинула:

— Ты чего? Ты чего? Рехнулся?!

— Ничего! Умывайся знай.

Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок. Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый.

— Надо же! Икота-то кончилась! —удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем.

— Хэ! — сказал я. — Икота! Я и похлеще чего изгнать могу! Наваждение! Беса! Родимец! Даже наговоры... приворотные средства. Это неуж ты? — ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка.

Лида выхватила у меня альбом, треснула им меня по лбу.

— У-у, бессовестный какой! На вот! — сунула мне подшивку журналов «Всемирный следопыт», а сама ускользнула под занавеску.

Я листал подшивку, стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами:

— А где ты амуницию взял? Так она тебе идет!

— Рюрик дал. Его комиссовали.

— Молодчик.

— Кто молодчик-то?

— Ты, конечно! Вон от икоты меня излечил. А нашел-то как?

— Нюхом!

— Ну и нюх у тебя! Звериный прямо!

— Говорю тебе, таежный человек я.

— С тобой опасно!

— Еще как!

Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в навощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, и не кудлаты.

— Вот и я нарядилась! — перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. — Не одному тебе форсить! — И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. — Малое все сделалось...

Я листал журнальчики и помалкивал да поглядывал на нее украдкой.

— Что-то мама задержалась, — сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем, и , не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила: — В очереди застряла. Стареет. Любит поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.

Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку.

— Ну, что будем делать, Миша-Михей?

— Почем я знаю?

— Почем-почем! Бука! — ткнула она меня в бок пальцем.

Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь.

— Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.

— Не забуду!

— Как знать?

— Не забуду! — упрямился я.

— И до чего же ты сердитый, Мишка-Михей!

— У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

— Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?

— Ага. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся: придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький! Пойдем в полицию!» И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.

Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.

— Ну и балда же ты, Лидка! А еще в институте учишься!

— Сам ты балда!

Лида хлопнула меня по руке. Я ее. И пошла игра:

кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка! Однако же и я не в назьме найден — в тайге вырос, с девяти лет ружьем владею, потом детдомовскую школу прошел — может, самую высшую по психологии и ловкости школу.

Лида лупит меня по руке, а я ее заманиваю, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо всей силушки!

Лида завопила — и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же, нежное существо, а я... Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть. А пальчишки, господи твоя воля, аж светятся насквозь и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то.

Однако же и оттого уж только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалось Лиде, и она принялась колотить меня кулачишком.

— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

— Карау-у-у-ул! Наших бьют! — заорал я и подвернул Лидку, придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись — неизвестно, да в сенках послышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.

— Мама, а Мишка обманывает меня и балуется, — капризно пожаловалась Лида и надула губы.

— Это ж основная обязанность мужчин, доченька, — обманывать и баловаться, — ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много пережила и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом.

— Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо?..

Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее — выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил вешалку, водворил на место шубу.

— Вот что значит мужчина в доме! — сказала мать не то в шутку, не то всерьез и чуть заметно усмехнулась,

глядя на меня, и я стушевался. А Лида уже наливала в рукомойник воды и совала мне плоский обмылок, будто я невесть какую работу выполнил.

Руки я все же помыл.

— Чем же мы будем потчевать гостя? — не то спросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаенной надеждой на нее:

— Придумаем что-нибудь.

— Да вы не хлопочите. Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят — на убой. Вот Лида знает.

— Мало ли как вас там кормят и мало ли чего Лида знает, — заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. — Мигом слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? — обратилась она ко мне.

— А что это такое?

— Ну вот вы даже не знаете, что такое мамалыга, — усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила: — Мамалыга — это почти каша, только из кукурузы. Понятно?

— Понятно.

Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал — она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила:

— Вам сколько лет, Миша?

— Девятнадцать.

— Хороший возраст, — вздохнула мать и принялась растапливать печку тремя дощечками от тарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным тряпьем. — Хороший возраст, — повторила она. — Вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать...

— У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, — мрачно прервал я ее и отстранил от печки, потому что не растапливалась она, а только дымила.

Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров!

— Студено у вас, — сказал я.

— Студено, — эхом откликнулась мать. — Слово-то

какое точное. Везде сейчас студено: в домах, на улицах, в душах... — Она хрустнула пальцами и наконец тихо спросила:

— Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?

— Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю.

— Вы не сердитесь. Я — мать. И дочь — это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее — распашонка. Она уж если... все отдаст. А девушке и отдавать-то — всего ничего.

— Зачем вы так?

— Ах, Михаил, Михаил... — сжала ладонями седые виски Лидина мать. — Не так бы надо сказать. Но раз уж сказалось, так слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. Допустим, вас изувечат еще раз, и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что?.. Какое у вас образование?

— Семь.

— А специальность?

— Была специальность... да сплыла.

— Вот видите, вот видите, — подхватила она. — Лидка тоже еще на перепутье. Институт даже не кончила. В общем, Михаил, будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи... Ну вы меня понимаете...

— Да. Почти что. — Я резко поднялся и стал надевать бушлат. А он, гад, как нарочно, не надевается, раненая рука мешает. Пришлось зубами помогать натягивать.

Диван затенькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат. В уголках ее глаз, у самых морщинок блеснуло.

— Не уходите. Вы сделаете ей больно. А боли и горя — добра этого и так хватает.

Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.

— Дети вы мои, дети! — Она уронила руки. — Раз-

говор наш вы можете забыть... Это ведь только слова, слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права? Может, устала от нужды? Оскудоумела от горя? Все может быть. Простите меня, бога ради...

— Что вы? За что?.. — У меня повело губы. — Я ведь и в самом деле отучился думать о других... За меня начальство думает, старшина харч выдает — и вся недолга. — Я помолчал и добавил: — Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме! Так в детдоме у нас говорили, — вымучил я улыбку.

— А у вас?

— У меня? Обо мне не стоит. Я — солдат, а загадывать солдату нельзя, по суеверным соображениям, — пояснил я.

В это время в комнату ворвалась Лида, поставила бидончик на стол, разделась и... Ох, и глазастая девка все-таки!

— Вы что? Что у вас произошло? Мама!

— Да ничего особенного. Печку растопляли, о жизни говорили. Студено, — говорит твой солдат. Сейчас мы его согреем, мамалыгой угостим! Представляешь, он, оказывается, никогда не ел мамалыги.

— Ага! Он медвежатиной всю жизнь питался! — поджала губы Лида.

Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то. У меня не шел из головы разговор с Лидиной матерью. Мне его никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то повернулось во мне, непонятное содеялось. До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там и не требовало вроде бы никаких раздумий. Было, и все. А что, зачем, почему — это как будто и не касалось нас.

Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилось и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук. И еще мне страшно жало ноги, до того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел, и даже шутил, и смеялся, но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся, говорил невпопад, и Лида удивленно спрашивала:

— Ты чего?

Я отделывался шуткой.

Ночь была ясная и звездная. В городе лишь кое-где тускло светились окна, но и они гасли одно за другим. Город, разрушенный в центре, с кое-как прибранными и подметенными улицами, утомленно затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. Ямки возле тротуаров и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной.

Я держал Лиду под руку и говорил:

— Осторожно, воронка!

— Осторожно, воронка! — предупреждала она.

Забивая душевную смуту, эту, насквозь меня пронзившую после разговора с Лидиной матерью, горесть, даже не горесть, а недомогание какое-то, боль, еще не изведанную мной, точнее, не похожую на те боли, которые я изведал от ран, ушибов и тому подобных пустяков. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил — страдание! Такое старомодное, так часто встречающееся в книжках и в кино слово, а я его забыл, вернее сказать, и не знал вовсе.

А тут еще сапоги эти проклятые! Хоть ложись на землю или разувайся и шествуй босиком по Краснодару. Но я ж героический воин, я ж гвардеец, я ж медвежатник, и что мне все эти самые страдания? Я весело и беспечно травил про войну:

— И вот кричат фрицы нам: «Еван! А Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают!» — «А пошел ты!» — отвечают ему наши. Ну, ты знаешь, куда пошел?..

— Смутно догадываюсь, — роняет Лида. — Я все-таки с военным народом на работе дело имею.

— Кхы! — поперхнулся я и продолжал: — «А пошел ты, фриц, туда-то и туда-то! У нас кило хлеба дают, и то не хватает!» — Тут я как захохотал и вдруг обнаружил, что Лида-то не смеется.

Она остановилась против меня, смотрит и ждет, когда кончится мое веселье.

— Миша, вы о чем с мамой говорили?

М-да, эта девица-сестрица не такая уж простофиля, не такая уж девчушечка с поломатым зубом! Надо ухо востро держать!

— Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. Выяс-

пилось, между прочим, что она все равно как наша сибирская драчона, только та из картошек, а эта из кукурузы.

— Объяснил вполне популярно. Дуй дальше. Только не про войну. Войной я сыта вот так! — чиркнула Лида себя ребром ладони по горлу.

— Так ведь кто про чё... — Я вовремя застопорил, чуть не брякнув: «А вшивый про баню».

— Тогда стихи читай, как положено на свидании! — потребовала Лида.

— Стихи? Да я их не помню. Вот разве что: «У лукоморья дуб срубили...»

— Не трудись. Весь госпитальный фольклор тоже изучила!

— Ну «Однажды, в студеную зимнюю пору»?

— Вот за этим углом груда кирпичей лежит — разбитая школа. В четвертом классе оной школы я, как сейчас помню, отхватила «отлично» за декламацию этого популярного стишка.

— Н-ну, дорогая сестрица, я уж и не знаю, чем вас развлекать?

— Расскажи, о чем вы говорили с мамой?

— А-а! — хлопнул я себя по лбу: — Помню! Один стих помню! И какой стих! В нашем взводе стишок этот очкарик один читал. Его баба, извиняюсь, жена покинула, вот он, по причине разбитого сердца...

— Валяй по причине разбитого сердца.

Я остановился, задрал морду в небо и с завыванием начал:

> Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
> На время краткое, без траты чувств и сил.
> Я пламенно любил, глубоко и несчастно.
> Безумно я любил...

Гляди-ка ты: стишок, вычитанный мной в старой, растрепанной книге, звучит сегодня как-то совсем поиному, смешным вовсе не кажется — от него незащищенность какая-то происходит! От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце давит. Ну, это, может, и по причине тесных сапог? От тесной обуви, говорят, даже порок сердца случается.

— Ну, чего же ты? — Лида упрятала лицо по самый нос в рыжий мех — и не понять: смеется она или на полном серьезе меня слушает.

— Да я дальше не помню. Конец только.
— Р-руби конец.

Я звал забвение. Покорный воле рока,
Бродил с поверженной, мятущейся душой,
Но, всюду и везде преследуя жестоко,
Она была со мной...

Тут я опять сбился, запамятовал стих дальше, начал терзать свою хилую память, натужно шевелить мозгами:
— Та-та-та-та... та-та-та... Есть! — обрадовался я.

И вот я слабый раб порока...

Та-та-та... та-та... Ага, поймал!

Искал всесильного забвения в вине,
Но и в винных парах являлся образ милой
И улыбался мне...

Дальше опять не помню, делаю перескок.

И в редкие часы, когда, людей прощая,
Я снова их люблю, им отдаю себя,
Она является и шепчет, повторяя:
«Я не люблю тебя...»

Мы оба долго не шевелились и молчали. Какое-то жалостное чувство подтачивало меня. Тянул самолет вверху. Над нами пощелкивали обмерзлые ветки. В темных улицах верещали свистки патрулей и подозрительно разбегались по подворотням подозрительные людишки, а мы стояли и молчали.
— Ну, как? — прокашлялся я. — Так себе стишок, правда? Но солдаты переписывали...
Лида ничего не ответила. Зябко ежась, она глухо, в мех лисы выдохнула:
— И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю... — Голосишко ее задрожал. Она вдруг прижалась ухом к моей молодецкой груди и чуть слышно прошептала: — Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник!..
Я как будто того только и ждал. С торопливым отчаянием обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал лису.
— Ах, медвежатник ты, медвежатник, — прошептала Лида, — тебе бы только со зверями якшаться.

Я обиделся и пытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал, не дыша, до тех пор, пока без дыхания уж стало невозможно.

Я отнял губы, сделал громкий выдох.

Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.

— Гляди, Миша, сколько звезд сегодня! — наконец заговорила Лида, и я поглядел на небо.

Звезд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звезды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звезды, звездочки, звездушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть — эти бессонные, добрые звезды.

— Может, и наша звездочка там есть, Миша?

— Может, и есть, да не про нашу честь!

— У-у, какой ты грубый! — опечалилась Лида. — Я знаю, почему ты так...

Я насторожился и сказал, что ничего она не знает, что это детдомовщина да солдатчина во мне грубая сидит, и нечего тут мудрить!

— Миша, ты так и не скажешь, о чем вы говорили с мамой?

— Так и не скажу!

— Ну что ж! Ты настоящий мужчина и воин! — тряхнула она меня за ворот бушлата. — Характер твой железный, и тайны ты умеешь хранить. А я слабое созданье женского пола. И прошу тебя все-таки загадать со мной вместе звездочку. Во-он ту, рядом с ковшиком которая...

Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыханием, и так хотелось ее стиснуть, да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка, и прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла! А я бы не знаю что сделал для нее и для всего советского народа!..

— Миша, ты когда-нибудь целовался... ну... с девушкой?

— Нет, не целовался. Некогда было.

— И я тоже не целовалась.

Я отстранил ее, в лицо всмотрелся с недоверием. Она тряхнула головой.

— Правда-правда. Тот младший лейтенант Макурин провожал меня два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему...

— Ты, может, думаешь — ревную? — фукнул я носом и даже хохотнул. Но смех получился такой, будто у меня подшипники в горле расплавились. И тогда я рассердился: — Была нужда!

— Не смей так говорить со мной. — От обиды голос Лиды дрогнул: — Грубиян несчастный!

— Ладно уж, не буду, — подразнил я ее и боднул лбом. Она схватила меня за чуб, и все дело кончилось тем, что мы еще раз поцеловались.

Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина, возле дома с флюгером. Флюгера за тополем не было видно. Он только время от времени напоминал о себе железным, ленивым скрипом. И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощелкивать друг о дружку, и сверху к ногам падали звонкие ледышки. Снега на улицах нет. Лишь кое-где в заулках притаился он линялым зайцем. И холода настоящего нет, но и мокрети, этой вечной кубанской малярийной мокрети, нет сегодня. Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, ну просто невмоготу.

Я перекатывал сапогом эти, то вспыхивающие, то гаснущие звездочки-ледышки, помалкивал, понимая, что надо уходить, пора уходить, а ноги ровно бы приросли к земле.

По пустынным, гулким улицам города возвращался я в госпиталь и не замечал воронок, малой обуви, а рубил строевым и, забыв, что говорила мне Лидина мать, отрывал любимую песню нашего полка:

С нашим знаменем,
С нашим знаменем
До конца мы врага разобьем!
За родимые края, края советские
Мы в поход, друзья-товарищи, пойдем!..

И плевать мне было на все на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать его. Но первыми встречными оказались не те, которых надо целовать.

В одном из особенно темных переулков меня перехватили налетчики — добра этого тогда в Краснодаре водилось хоть пруд пруди.

Они весело приказали:

— Гоп — стоп! Не вертухайся, соловей!

— Вам чего?

— Лопотинку, всего лишь лопотинку, соловей! Кальсоны оставляем, уважая застенчивость.

— Рылы! — с облегчением произнес я, понимая, что имею дело с веселыми мазуриками, каких в детдоме перевидал видимо-невидимо, и сам «на дело» хаживал во младенчестве. — Госпитальник я! — Самоволочников из госпиталей никакие мазурики не трогали тогда. Ну уж самые распаскудные если, для которых ничего святого на свете не существовало.

Меня осветили из-под полы фонариком, погасили его, сказав: «Любезно звиняемся!», и попросили закурить. Я отвалил мазурикам всю оставшуюся у меня махру, и они растворились во тьме развалин и густых дерев, а я потопал дальше и снова грянул:

С нашим знаменем!
С нашим знаменем!..

Налетчики подсвистнули в лад моей песне и захохотали:

— Во хватанул вояка микстурки!

Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук, курил без перерыва и почему-то сердито говорил, что все равно будет тренироваться и еще станет играть в футбол, и успевал стрелять глазами в мимо проходивших девок. Бравый народ эти саратовские, послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты. И частушки у них одна чище другой.

— Зачем кочегаришь, когда дырка? — сказал я. А он вместо ответа пробубнил мне:

— Комиссуют если по чистой, приезжай без никаких. Все-таки халупа, отец, мать живые. И город у нас знаешь какой, Саратов-то, о-о-о-о!

— Знаю: «Ты — Саратов, город славный», и так далее...

— Я те дело говорю!

— Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли.

— Давай,— говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подергиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник. А я держу за удавку вещмешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга.

В одном поезде с Рюриком уезжал тот младший лейтенант Макурин. Он в серой, ладно сидящей на нем шинели. Значит, кожан брал напрокат у кого-то, и я зря переживал. И усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если есть одна или две девки в части, так они уже давно и не по разу завлеченные.

Мы и с лейтенантом обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит, весело сверкая серебряным зубом:

— Ну ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе.

Я знаю, кто такой мавр, и мне это не очень-то нравится, но младший на войну едет, не надо нам цапаться напоследок, и я отвечаю дружески:

— Можешь быть уверен — порядок в этом городе обеспечу, а ты там бродягу-фюрера скорее дожимай...

Наши шефы со швейной фабрики, не побывавшие у нас по причине новогоднего разгрома, затребовали энное количество кавалеров к себе на фабрику, чтобы веселей было праздновать Международный женский день Восьмое марта.

В число «кавалеров», набираемых из команды выздоравливающих, угодил и я. Скучно мне сделалось после отъезда Рюрика и отбытия всех близких мне корешков, с которыми сдружила нас госпитальная длинная жизнь.

Смятение охватывало, и места я найти себе не мог еще и оттого, что приближалась и моя выписка из госпиталя, а значит, и...

Одним словом, решил я тоже малость поразвлечься, тем более что Лидино дежурство в следующие сутки, а они, эти сутки, как вечность сделались, и надо было их как-то скоротать незаметней.

Швейная фабрика размещалась в подвалах, где был когда-то склад этой же фабрики. Сами же швеи восстанавливали свою фабрику и уже слепили целый этаж из

собранных по городу кирпичей, но рам достать нигде не могли, и оттого пустоглазо чернел надстроенный этаж и дожидался лучших времен.

В подвале станки с машинами, раскройные столы и прочие швейные премудрости и весь инвентарь были сдвинуты в одну сторону, растолканы по углам, а на освободившемся месте сомкнутым строем стояли конторские столы, соединенные досками, на столбиками сложенные кирпичи были положены плахи.

На столах снедь в основном огородная, девушки, видать, тут работали все больше станичные и понавезли из дому кто чего смог: огурцы соленые, капусту, помидоры, яблоки моченые, — и вина много на столах и под столами. Точнее, самогонки много, а вино «бабье» — красненькое лишь для разгона праздника и разживления веселья.

К моей радости, в гостях у швей оказались Шестопалов, Коля-азербайджанец и еще кое-кто из наших. Были и незнакомые ребята, как попало и во что попало одетые. Все они держались стесненно, жались по углам, не зная, что делать, понимая фальшь и неестественность той роли, какую они призваны были выполнять, — роль мужчин на женском празднике! По принуждению!

Один Шестопалов чувствовал себя тут как рыба в воде, бодрил мужской род, прибывший на «прорыв», сообщил между прочим, что через два дня отправляется с маршевой ротой на фронт и Колю-азербайджанца берет в свою команду, сделает из него совсем отчаянного солдата и вернет в Акстафу усыпанного орденами, а может, и сам туда рванет, потому что вина и девок там много — Коля говорит.

— Как же это вас Огния-то отпустила? — неожиданно перескочил он на другую тему.

— Скрепя сердце. Они, — кивнул я на девушек, суетящихся возле столов, — сулятся нового белья нашему госпиталю отвалить...

— А-а, бельишко и в самом деле заплата на заплате. А как же? — Шестопалов хотел, видно, спросить, как же это отпустила меня Лида, но парень он хоть и шалопутный, да многое понимать умеет. Тут же захохотал, тут же сообщил весело, что они с Колей-азербайджанцем воспользовались «заборной книжкой» — ушли через забор пересылки.

Речь говорил директор швейной фабрики, мужик на

костыле и с завязанным белой тряпкой глазом. Точнее, он не говорил речь, а только открыл торжество, понимая, что для парадных выступлений вид его не очень-то подходящ, и скорее передал слово секретарю профкома, крепкой, подвижной женщине — лучшей стахановке цеха массового пошива, как представил ее директор, чем страшно смутил ее и взволновал.

Говорила она без бумаги и начала довольно бойко: «Мы, советские женщины, тут, на трудовом фронте, не жалея сил...» А как дошла до тех, кто «проливает кровь там», «а мы собрались тут», — брызнули у нее слезы, и речь продолжать она больше не могла. Девки многие тоже заплакали, и, горестно покачав головой, директор фабрики поглядел на нас скорбным глазом и жестом пригласил всех за стол.

Само собой, распорядителем праздника оказался Шестопалов и, будучи великим знатоком душ человеческих, наклонностей их и запросов, довольно точно угадал, кого с кем рядом посадить.

Для меня, как для «своего парня», он постарался особо. Рядом со мной оказалась девушка в черном платье с глубоким вырезом, красиво открывавшим ее длинную шею, напоминающую рюмку, на которой висела цепь с золотисто сверкающей штуковиной, блямбой — назвали бы в детдоме, — и в блямбе этой зеленым кошачьим глазом светилось какое-то ювелирное изделие. Длинные, орехового цвета волосы девушки, закругленные на концах, волнами спадали на ее эту замечательную шею и приоткрывали плечи. Глаза у девушки были того же цвета, что и волосы, с коричневым отливом. Держалась она свободно, чуть свысока, умела, однако, не выделяться и на шуточку Шестопалова такой спокойный и складный ответ дала, что он сразу укатился на дальний конец стола, заграбастал там пышную сероглазку, и та, бедная, не только пить или говорить не могла, у нее уж по всем видам и дыханье-то занялось.

А я держался скованно. Таких девушек, как моя соседка Женя (имя ее мне мимоходом Шестопалов сообщил), я боялся, считал недоступными нашему простому сословию и вообще мечтал о том, чтобы поскорее «отбыть положенное» и смыться отсюда на улицу Пушкина. Зайти в Лидин дом я, конечно уж, больше не решусь, но хоть возле него пошляюсь. А может, она по молоко пойдет, по воду, да мало ли за чем?..

— Вы что-то совсем за мной не ухаживаете! — оборвала мои раздумья Женя.

— Да вот... не умею... не приходилось, — смутился я и торопливо налил ей и себе из пузатой банки красного вина. — С праздником вас, с Женским днем!

— Вас также! — стукнула рюмкой об мою рюмку Женя и, улыбаясь мне игриво, медленно тянула вино из граненой рюмки. А я выпил разом и вдруг сообразил: она же подъелдыкнула меня, она же вроде бы как и меня в женщины зачислила! Я покрутил головой и хотел придумать что-нибудь тоже ехидное, но в это время зазвучал баян, и все, сначала недружно, невпопад, но, постепенно собирая силы в кучу, уже в лад пели на мотив танго «Брызги шампанского» знаменитую тогда песню: «Когда мы покидали свой любимый край и молча уходили на восток, над Тихим Доном, над веткой клена, моя чалдонка, твой платок...»

Когда песня подошла к концу и накатили слова: «Я не расслышал слов твоих, любовь моя, но знаю — будешь ждать меня в тоске; не лист багряный, а наши раны горели на речном песке», — то все уж бабенки и девчата заливались слезами, иные из-за стола повыскакивали и бросились куда попало, в голос рыдая.

Ну, тут все понятно, — у них мужиков и сыновей поубивало. С ними отваживались, отпаивали их водой и водворяли обратно за стол зареванных, погасших, с распухшими глазами.

Моя соседка Женя сидела бледная, прямая, с плотно сжатыми губами и, не моргая, глядела куда-то остановившимися глазами.

Я оробел еще больше и не шевелился, даже и коснуться ее боялся. Но сидеть все время так вот тоже было невежливо. Я положил на тарелку винегрета, сверху плюхнул яблоко моченое, поставил тарелку перед Женей и тронул ее за плечо:

— Женя, покушайте, пожалуйста!

— А? Что? — вздрогнула Женя и возвратилась откуда-то, из далекого далека, слабо и признательно улыбнулась мне:

— Спасибо, Миша! Я и в самом деле есть хочу...

«Вот это девка! — восхитился я. — Вот что значит культурное воспитание! Хочет есть и ест, а коснись деревенщины — изжеманится вся: «Да что вы! Да я не хочу! Да я вообще винегрет не употребляю...»

— Если бы вы налили еще и вина, вам бы цены не было, Миша!

— Вина? — Я сгреб пузатую банку: — С полным моим удовольствием!.. — Я начинал чувствовать себя свободней и пытался изображать развязность.

— Если можно, покрепче, Миша.

Мы выпили по рюмке такого самогона, что у меня сперло дыхание в груди, и если бы Женя не дала закусить от своего яблока, может, дыхание так бы и не началось больше.

— Вот, Миша, мы, как Адам и Ева, — вкусили одного плода, —показала Женя на отхваченный мною бок яблока. И я еще раз налил, и еще раз куснул, а потом ударился в умилительные мысли: «Миша! Почему меня все зовут Мишей? Я здоровый, крепкого сложения человек, а Миша. Это, наверно, потому, что я слабохарактерный? А может?..» Но дальше думать о себе я запретил, понявши, что захмелел крепко, потому что дальше уж бог знает чего в голову полезло: «Может, я человек хороший, не злой», — ну и всякие такие пьяные глупости.

— Вы бы хоть развлекали как-то меня, Миша! — пьяненько жеманилась Женя, близко придвинувшись ко мне и опаляя меня оголенным жарким плечом.

Многие солдатики уже сидели за столом свободно, гомонили, рассказывали что-то — и все в обнимку, все вплотную, а Шестопалов исчез куда-то со своей сомлевшей сероглазкой.

— Да я, — горло у меня ссохлось, — не умею я.

— Ну, про войну, про героические подвиги что-нибудь соврите.

Ну, это она зря! Войны она касается зря. Фронтовые окопные дела мало подходящи для пьяной застольной брехни. Из меня даже хмель начал выходить, и я сказал Жене строго:

— Война страшная, Женя. Не надо об ней шутить.

Она смешалась, нервно затеребила красивыми, но сплошь исколотыми иглой руками цепочку на шее и тут же, преодолев себя, с вызовом бросила:

— Тогда танцевать приглашай!

— А я и танцевать не умею. — И развел руками покаянно: — Видишь вот, какой тебе нескладный кавалер попался.

— Обманули нас! Сказали: самых боеспособных, са-

мых героических выдадут, а налицо оказалось что? Мякина! Ну мы им за это кальсоны назад ширинкой понашьем!..

— Ох, Женька, Женька! — расхохотался я и подумал: «Вот была бы у меня сестра такая!..»

Но Женя опять не дала мне углубиться в мысли, вытащила из-за стола, заявила, что мужику в танцах главное — ногами переступать и стараться не уронить под себя на глазах у публики партнершу!

«Шпана! Детдомовщина! Наш брат — кондрат! И никакая она не интеллигенция!» — порешил я и закружился вместе с нею. Мы кого-то толкали, и нас кто-то толкал, было шумно и весело.

Тетка, что говорила речь, обхватив Шестопалова за шею, громко кричала:

— Дай я хоть от имени профсоюзу швейников тебя поцелую!

Тут я вдруг вспомнил про Лиду, как целовались, вспомнил, и потихоньку-полегоньку в кладовую умотал, где кучей были сложены шинеленки и шапки «кавалеров», и долго не мог найти я незнакомую, напрокат выданную мне шинель и шапку из бывших в употреблении, решил уж надеть какую попало, лишь бы налезла на меня, как услышал:

— А чтой-то ты, брат Елдырин, бросил меня? — Пойманный и уличенный, я только плечами пожал. — А помоги-ка, брат Елдырин, и мне одеться — чтой-то скучно мне на этом празднике изделалось!

Ох, земля ты кубанская, пространственная, плоская, нашему брату-сибиряку непонятная да и неподходящая.

Зимой моросило либо хлопьями снег валил, грязища по колено, да вязкая такая грязища-то! А вот в марте подморозило и даже снежок выпал, пока мы на швейной фабрике отплясывали. Да и сейчас рябит снежок, тихий такой, мирный, душу чем-то детским и далеким радующий.

Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку, и мне лизнуть дала. Сладко! Право слово, сладко!

Потом она этим снежком в меня запустила, но я не ввязался в игру. Мне почему-то не хотелось ни дурить, ни играть после того, что поведала о себе Женя: она здешняя, краснодарская, из семьи художника, и сама в

изостудии занималась. Но потом война, эвакуация, и вся семья погибла под бомбежкой, осталась Женя и два чемодана: один — с мамиными платьями и украшениями, другой — с папиными этюдами и рисунками. Теперь Женя белье в массовке шьет и лучших времен ждет...

Хмель из моей головы весь почти испарился. Я шел по тихому городу и курил толсто скрученную цигарку. А Женя прыгала впереди меня на одной ножке, палочкой трещала по штакетнику палисадников и что-то напевала. Длинный белый шарф (тоже, видать, от мамы оставшийся) крыльями подпрыгивал и мотался над ее плечами, и мне было так жалко эту девушку, так жалко!..

— Дай и мне покурить, сибирячок-снеговичок! — остановилась и протянула руку Женя, вынув ее из тоже белой вязаной рукавички.

— Не дам! Не балуйся!.. И вообще не выкаблучивайся! — вздыбился я на нее и вправду что как старший брат.

Женя изумленно уставилась на меня:

— Да ты что?!

— А ничего! Вон какая девка! Красавица! Умница! На художника, может, выучишься!.. Я и сидеть-то сначала рядом с тобой боялся! А ты?..

— Ми-и-ишка, ты напился! В дребадан! Красавица! Умница! Художница-безбожница! Дай докурить! — Она вырвала у меня недокурок и несколько раз жадно и умело затянулась. — Ишь какой! — усмиренней буркнула она. — В богиню почти произвел!

— Чихал я на богиню! Девка ты мировая и не дешевись!..

— Ты чего орешь-то? Чего разоряешься?

— А ничего!

— Ну и все!

— Нет, не все!

— Нет, все!

Она опять опередила меня, опять попробовала прыгать на одной ноге и, рассыпая искры от цигарки, напевала: «Слабый, слабый, слабый табачок, вредный, вредный, вредный сибирячок-снеговичок...»

Но уже не могла она попасть в прежнюю струю беспечного, праздничного настроения и, остановившись возле ворот общежития, церемонно подала мне руку ребрышком и оттопырила палец каким-то фокусным фертом:

— До свиданья, милое созданье! Спасибо за кум-

панью и приятственную беседу. В общагу не зову, поскольку приставать будете, а у нас этого девицы не любят и даже не переносят, поскольку обрюхатеть можно! А абортик, он — э-ге-ге-ге! Копеечку стоит!..

— Я чем-то обидел тебя, Женя?

— Да! — сверкнула она глазами. — Гадость сказал!

— Га-аааадость?!

— Твои благородные, красивые слова больнее гадости! Ты ими брезгливость прикрываешь! Прикрываешь ведь? Даже поцеловать не попытался! Брезгуешь, да?! Брезгуешь?!

— Женька ты, Женька! Цены ты себе не знаешь...

— Цена мне четыре сотни и пятисотграммовая карточка! Ну, если не такой ископаемый, как ты, встретится — глядишь, покормит, попоит, четвертак отвалит.

— Будь здорова, Женя! Прости, коль неладное брякнул.

— Бог простит! — Женя вознесла руку к небу, принимая позу богини, но внезапно сникла вся, прикрылась концом шарфа и слепо бросилась в ворота.

Я свернул цигарку толще прежней, высек огня из трофейной зажигалки, прикурил, потоптался, удрученный, возле ворот общежития фабрики и подался «домой», в госпиталь.

Что я тут мог сделать? Чем помочь?

Час от часу не легче! Не успел я повесить на гвоздь в раздевалке шинель и шапку, как услышал за своей спиной свистящий, клокочущий, пронзающий, разящий — словом, самый грозный, самый потрясающий со дня сотворения рода человеческого шепот:

— Ты где шлялся, медвежатник несчастный?!

Обернулся: за барьером раздевалки она — Лидка! Кулаки сжаты, лицо серое, глаза молнии бросают, и только деревянный барьер, разделяющий нас, мешает ей броситься и растерзать меня на куски.

— О-о! Мамзель! Мое вам почтенье! — отвесил я земной поклон. — Не ожидал, не ожидал, понимаете ли, вас сегодня здесь повстречать! Такой приятный сюрприз!

— Я тебе покажу мамзель! Я тебе покажу сюрприз! Признавайся, где ты был?!

— На празднике. На Международном женском дне.

— И ты... и ты пил там?

— А как же?! — подныривая под барьер, развязно воскликнул я. — На то и праздник, чтобы петь и смеяться, как дети.

Лида была сражена. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, глаза угасали. Я уж хотел пожалеть ее и перестать придуриваться, но в это время очень кстати появился «громоотвод» — приволокся тот артист с бородкой чего-то просить, и я догадался, что Лида на ночь подменила дежурную сестру.

— Отбой был?! — налетела Лида на «артиста». — Шагом марш в палату! Шля-я-ются всякие-развсякие! — И тут же набросилась на меня, принялась тыкать рукой в грудь. — Сейчас же! Сейчас же! — Она задыхалась от негодования, она обезумела, можно сказать. — Весь парад! Весь! И в палату! Я приказываю! Я вам всем тут покажу! — Она даже ногой топнула.

— Ты чего пылишь-то?

Лида сгребла меня за грудки и стала трясти так, что все мои медали заподпрыгивали и забрякали.

— Ты провожал модистку, признавайся!

Я покорно склонил голову. Лида втянула воздух дрожащими ноздрями:

— Да от тебя духами пахнет! Дешевыми! Пошлыми!

— Самогонкой от меня пахнет, не выдумывай!

— Нет, духами! Ты меня не проведешь!

— Ну, может, и духами. Танцевал я там с одной...

— Ага! Ага-а-а! — с еще большим негодованием восторжествовала Лида. — Танцева-ал! А танцевать-то ты не умеешь, несчастный! Я все! Я все-о-о про тебя знаю! — Она притиснула меня к стене, да так сильно притиснула, что ни дыхнуть, ни охнуть. — Ты целовался с ней, целовался?!

И я тоже гусь хороший, нет, чтоб честно все рассказать и покаяться, давай ее дальше дразнить да разыгрывать — опять удалую голову на грудь опустил.

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько ты с нею лизался?

— Ну, сколько? — начал припоминать я. — Может, полчаса, может, больше. Часов-то у меня нету...

Я уж надеялся, что после таких моих шуточек она придет в себя и расхохочется вместе со мною, да не тут-то было. Она и в самом деле обезумела.

— А потом?

— Чего потом?

— Что было потом? Не скрывайся лучше! Признавайся, несчастный! Не то я тебе не знаю что сделаю!..

— Потом? Что же было потом? А-а, потом я вспомнил, что ужин пропадает, и скорее рванул домой.

Лида выпустила меня, уронила руки:

— Дядя шутит! Я тебя зарежу!

— Чем? Скальпелем или ножом? Лучше ножом. Скальпели уж больно тупые.

— Дурак! Медвежатник! Грубиян! Сибирская деревянная колода! Чурбан... И... и... Я плакала! Вот... Тут... Тут... — показывала она на кожаный диван, единственный в коридоре диван, истерзанный, мятый, дыроватый. И как я представил, что она на этом диване, вжавшись в уголочек, на пружинах этих жестких, маленькая такая, в халатике... — так сгреб ее и прижал к себе:

— Балда ты, ей-богу!

— Конечно, балда, да еще какая! — всхлипывая, прерывисто выговаривала она. — Разве умная стала бы из-за такого...

Я утер ей нос концом ее же косынки, глаза утер и дунул в ухо.

— Ты правда не целовался? — жалко пролепетала она, глядя на меня глазами, все еще полными слез.

— Ну ей-богу!

— Я ведь чуть не умерла. Правда-правда! Все меня обманывают. Все заодно. Я, как дура, по палатам шастаю, а мне говорят: к психам ушел; в физкабинет подался; в шашки сражается... Потом эта ваша любимица-царица, процедурная сестрица: «Лидочка, ты кого ищешь? Мишу? А его сегодня не будет. Он к женщинам на праздник ушел!» Представляешь?! Ы-ы-ых, я бы ее так и разорвала! — И Лида в самом деле разорвала какую-то бумажку, попавшую в руки, изображая, как она управилась бы с Паней.

Я утянул Лиду под барьер, в раздевалку, и там, закрытый одеждой и халатами, крепко-крепко ее поцеловал. После чего она брякнула меня кулаком по голове:

— Вот тебе, враг такой! — И, совсем успокоившись, сказала: — Сколько ты моей крови выпил, кто бы знал!

О том, что днями будет комиссия и меня выпишут из госпиталя и потому она выпрашивалась подменять сестер и дежурила за них, забыв про сон и покой, чтобы

только побыть со мною,— она мне не сказала. Об этом я уже узнаю позднее.

Многого я тогда еще не знал и не понимал.

Вот подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе. Предстояло еще раз мотаться по пересылкам и резервным полкам. Мотаться, как всегда, бестолково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту.

Лида осунулась, мало разговаривала со мной. Завтра с утра я уже буду собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли и потому выключали на ночь все, что можно выключить.

Я пытался и раньше представить нашу разлуку, знал, что будет и тяжело, и печально, готовился к этому. На самом деле все оказалось куда тяжелей. Думал: мы будем говорить, говорить, говорить, чтобы успеть высказать друг другу все, что накопилось в душе, все, что не могли высказать. Но никакого разговора не получилось. Я курил. Лида гладила мою руку. А она, эта рука, уже чувствовала боль.

— Выходила тебя. Ровно бы родила,— наконец тихо, словно бы самой себе, вымолвила Лида.

Откуда ей знать, как рожают? Хотя это всем женщинам, поди-ка, от сотворения мира известно. А Лида же еще и медик!

— Береги руку.— Лида остановила ладошку на моей перебитой кисти.— Чудом спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много.

— Не в том дело. Просто мне без руки нельзя, кормить меня — детдомовщину — некому.

Опять замолчали мы. Я пошевелил в печке огонь, стоя на колене, обернулся, встретился со взглядом Лиды.

— Ну что ты на меня так смотришь? Не надо так!

— А как надо?

— Не знаю. Бодрее, что ли?

— Стараюсь...

С кровати поднялся пожилой боец, сходил куда надо

и подошел к печке, прикуривать. Один ус у него книзу, другой кверху. Смешно.

— Сидим? — хриплым со сна голосом полюбопытствовал он.

— Сидим, — буркнул я.

— Ну и правильно делаете, — добродушно зевнул он и пошарил под мышкой. — Мешаю?

— Чего нам мешать-то?

— Тогда посижу и я маленько с вами. Погреюсь.

— Грейся, — разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папироску, сплющил ее о печку, отряхнулся, постоял и ушел на свою кровать со словами: — Эх, молодежь, молодежь! У меня вот тоже скоро дочка заневестится... — Койка под ним крякнула, потенькала пружинами, и все унялось.

Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, белеющими подушками. Было тихо-тихо.

— Миша!

— А?

— Ты чего замолчал?

— Да так что-то. О чем же говорить?

— Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?

Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал, но как решиться, как произнести это? Нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазня я, слабак.

— Ну, хорошо, — вздохнула Лида. — Раз говорить не о чем, займусь историями болезни, а то я запустила свои дела и здесь, и в институте.

— Займись, коли так.

Я злюсь на себя, а Лида, видать, подумала — на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер!

Я притянул ее к себе, взял да и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Она стукнула меня кулаком в грудь.

— У-у, вредный!

В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула:

— Их либе дих!

Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либе», все-таки знал, — и растерялся.

И тогда Лида встала передо мной и отчеканила:
— Их либе дих! Балбес ты этакий!

Она повернулась и убежала из палаты. Я долго разыскивал Лиду в сонном госпитале, наконец догадался заглянуть все в ту же раздевалку, все в тот же таинственный, с нашей точки зрения, уголок и нашел ее там. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил ее с подоконника и с запоздалой покаянностью твердил...

— Я тоже либе. Я тоже их либе... еще тогда... когда ты у лампы...

Она зарылась мокрым носом в мою рубашку:

— Так что же ты молчал столько месяцев?

Я утер ей ладонью щеки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, такой слабенькой-слабенькой, мне захотелось взять ее на руки, но я не взял ее на руки — не решился.

— Страшно было. Слово-то какое! Его небось и назначено человеку только раз в жизни произносить.

— У-у, вредный! — снова ткнула она меня кулачишком в грудь. — И откуда ты взялся на мою голову? — Она потерлась щекой о мою щеку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по лицу и с удивлением засмеялась: — Ми-ишка, у тебя борода начинает расти!

— Брось ты! — не поверил я и пощупал сам себя за подбородок. — И правда что-то пробивается.

— Мишка-Михей — бородатый дед! — как считалку, затвердила Лида и спохватилась: — Ой, спят ведь все! Иди сюда!

Теперь мы уже оба уселись на подоконник и так, за несколькими халатами, пальто и телогрейками, прижались друг к дружке и смирно сидели, как нам казалось, совсем маленько, минутки какие-нибудь. Но вот хлопнула дверь, одна, другая, прошаркали шлепанцы в сторону туалета, кто-то закашлял, потянуло по коридору табаком.

Госпиталь начинал просыпаться, оживать. Уже кличут из палат няню лежачие, и она с беременем посудин, зевая, пробежала по коридору, издали давая знать, что на посту была, ни капельки не спала, а только то и делала, что больным прислуживала да ублажала их.

Скоро и сестру покличут.

Окно за нашими спинами помутнело, сыростью тяну-

ло от него. Лида все плотнее прижималась ко мне, начала дрожать мелко-мелко и вдруг, словно бы проснувшись, начала озираться, увидела совсем уже посветлевшее окно, куривших в отдалении и на крыльце госпиталя ранбольных.

— Неужели и все? Неужели сегодня ты уйдешь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже все! Миша, что же ты молчишь? Что ты все молчишь!

— Не надо плакать, сестренка моя.

Лида встрепенулась и поглядела на меня потрясенными глазами. Дрожь все колотила ее, а слезы остановились, и лицо сделалось решительное:

— Миша, не откажи мне! Дай слово, что не откажешь!

— Я все готов... для... тебя...

— Я поставлю тебе температуру... ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает...

Я так и брякнулся с подоконника, встряхнул ее за плечи:

— Ты с ума сошла?!

— Я знаю, я знаю: это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонят. Из института прогонят. Ну и пусть прогоняют! Хочу с тобой побыть еще день, хоть один день! Пусть же эта проклятая война остановится на день! Пусть остановится! Пусть...

— Лидка, опомнись! Что ты несешь? Лида! Лида! — тряс я ее, успокаивал. Мне было страшно. Мне жутко было. Меня озноб колотил. Я не знал, что она меня так любит. И за что только! За что? Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат! Боже ж ты мой, Мишка, держись! Раз любишь — держись! Не соглашайся! Ты сильный, ты мужик. Не соглашайся! Нельзя такую девушку позорить. Держись!

И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды.

Я в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

Пересыльный пункт размещался в бывших складах «Заготзерно». Там уцелели полати для просушки зерна и не надо было делать нар, вот и приспособили «Заготзерно» под временное жилье, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали при-

смиревшие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зерна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку-другую уделяли воробьям. Птички быстро и без драки склевывали зерна и ждали еще, томительно следя за унылыми, медлительными людьми.

Эта пересылка была не хуже и не лучше других, по которым мне приходилось кочевать. Казарма не казарма, тюрьма не тюрьма. От того и другого помаленьку. Я думаю, что о запасных военных полках и о таких пересылках напишут еще люди. Иначе наши дети не будут знать о том, сколько мы перенесли, сколько могли перенести и при этом победить. Дети наши приучены думать так, будто война — это только фронт, где мы лишь тем и занимались, что без конца совершали героические подвиги.

У меня же в этом рассказе совсем другая задача. Он же о любви. Только о любви. Могу лишь добавить, что за все время воинских и госпитальных скитаний я побывал все же на одной пересылке, где более или менее сносно кормили.

Там был хромой и очень строгий комендант, и он так следил за порядком, что поварам, пекарям, охранникам, интендантам не удавалось обворовывать постоянно меняющийся состав пересылки.

Но у этого коменданта была слабость — он любил марши. Жил он на территории пересылки в домике с балконом. И вот каждый вечер комендант выходил на балкон и наяривал на гармошке «Легко на сердце» и заставлял нестроевых солдат маршировать под свою музыку.

Что сделаешь, обожал, видно, человек парады, под музыку ходить обожал, а фашисты изувечили его на фронте.

На краснодарской пересылке никто маршировать нас не заставлял и делать ничего не заставляли. Нас просто никуда не выпускали с территории пересылки, и мы были круглые сутки предоставлены самим себе и ждали «покупателя». «Покупатели» — это представители нестроевых частей. Они выстраивали нас во дворе, устланном растрескавшимися булыжниками, и выбирали тех, кто годился еще в охранники, в строители, и уводили с собой.

Здесь происходили частые встречи однополчан, зна-

комых по госпитальным палатам, и так же часто повторялись неизбежные разлуки.

Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, обняв колени. На меня напало какое-то оцепенение и тупое ко всему безразличие. На смотр «покупателей» я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил. Да и бесполезно было ее просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона.

И продавать мне было нечего.

Времени у меня было теперь дополна, все я мог вспомнить и обдумать, в том числе и подробности разговора с Лидиной матерью. Ничего не скажешь, битая женщина! Все знает, все сумела угадать, что и как будет со мною, что с нами будет даже!

Вот он я, весь нестроевой, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость, большая, оглушительная радость. Не хотелось ни о чем думать, и война вроде бы забылась, все-все забылось. И вот на тебе! Смотри, думай, оглядывайся, раз выбрел из тумана, который отгородил тебя от всего мира. В пересылке тумана не бывает. Здесь пыль, запах мышей и робкие, полуоблезлые воробьи. Солдаты в «очко» дуются; пользуясь «заборной книжкой», к бабам каким-то пикируют, и чего там сделают — не сделают, а уж наврут с три короба...

Однажды я вылез из своего угла, сходил в медпропускник, попросил, чтобы остригли волосы, — чего доброго, еще и вшей разведешь. Они особенно на тех, кто с тоски и горя доходит, насыпаются — это я по окопам знаю. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, быстро содрал тупой машинкой мой чуб, и голове сделалось легче. Я посмотрел на свои темные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми.

И ушел. На что они мне теперь, волосы? Чуб мой знатный?! Зачем попу гармонь, когда у него есть кадило!

Угол мой тем временем заняли. Я попросил вежливо освободить его. Белобрысый солдат было заартачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещичками. Если бы он еще немного поогрызался, я бы избил его.

Неподалеку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант, не только званием, но харак-

тером и повадками вылитый бродяга Шестопалов, и так же, как тот, травил анекдоты. Знал он их чертову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду умудряются жить с прибаутками. Солдатня в любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слезы руками. Я тоже стал слушать.

— Н-да, и вот приходит, стало быть, старик Еремей с собранья, а старуха уж тут как тут: «Об чем собранье было? Чё постановили?» Ну, старик Еремей поначалу кураж напустил, потылицу чешет: «Да разве, говорит, скажут нашему брату, об чем оно, собранье-то, было!..» — «О-ой, старик, не лукавь! Все ты понял, да мне сказывать не хотишь! Помучить меня жалаешь...» — «Ну уж, ладно уж, — вздохнул старик, — об мансипации собранье было, об равноправии, значит. И вырешили: к каждой бабе прикрепить по два мужика». — «Ну-к чё жа — собранье уж зря не постановит! Вот и будете оба-два как сродные братья жить...»

Пересылка содрогнулась так, что воробьи по ней заметались и в окна ударились, пыль взрывами из-под нар и углов заклубилась, солдатня повалилась кто куда.

— О-о-о-ой! — стонал и захлебывался кто-то подо мной. — Как сродные братья, значит?! О-о-ой, не могу! О-о-оой!..

«Как бы мы жили? Как бы мы одолели врага, горести, беды и утраты, если бы не было у нас таких вот парней, как этот старшой!» — ударился я в длинные размышления, которые неожиданно прервал окрик моего бывшего соседа по послеоперационной палате, пристроившегося вахтером на проходной пересылки.

— Рохвеев е?

— Кто? Кто?

— Рохвеев, е? — пытаю.

— Кто, кто? — еще раз переспросили его сразу несколько солдат.

— Да, Рохвеев, говорю! Там к нему прийшлы.

Я почувствовал, как похолодело темя на стриженой голове, рванулся к краю нар.

— Может, Ерофеев?

— Осе, осе! — подтвердил солдат. — То ж ты, Мыха! — захлопал он глазами. — А я ж хвамиль твою забув!—И пошел со склада величественный, неприступно важный и оттого совсем уж глуповатый, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не вы-

казывала никакого рвения к службе. А так вот валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего «покупателя».

Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ежистым страхом все внутри и как сразу замерзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, застегнул и одернул гимнастерку.

Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу, на чахлой травке, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была все в том же желтеньком беретике, все с той же желтенькой лисой, все такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, в огромных, расшлепанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастерке, безволосого, худого.

Я остановился и, когда Лида подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил, стиснув зубы:

— Зачем ты пришла?

Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грязцой. Я поймал ее за локоть.

— Зачем ты сюда пришла?

Она не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в ее глазах, даже там, в послеоперационной палате, окончательно взбесило меня, и не знаю, что я сделал бы еще, но Лида вдруг выхватила из-за рукава конверт.

— Я... Вот... письмо тебе принесла.

— Какое письмо?

— От Рюрика. Я думала... оно три дня назад пришло... Я думала, зачем его обратно отсылать...

Она еще лепетала что-то, и я видел, как наполнялись слезами ее глаза.

— Ничего, девочка! — послышался сиплый голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели на нас два расхлябанных солдата. Бывшие лагерники, видать, — то в карты играют, то дерутся и все химичат чего-то, продают, покупают, меняют и с пересылки не ухо-

дят, прижились тут, на фронт не торопятся — там и убить могут.

Я придвинулся к Лиде, попытался загородить ее грудью.

— Да, фигурешник! Конфета!

— И везет же человеку. Доходяга доходягой, а такую девку урвал.

— По нонешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло.

Я затравленно озирался по сторонам, а Лида презрительно сощурилась, как тогда, в госпитале, когда я ей сказал про лейтенанта. Да ведь тут презрительностью и всякими другими интеллигентскими штучками никого не прошибешь! Тут потяжельше чего-нибудь требуется.

Солдат во дворе появлялось все больше и больше. Иные из них выламывались, форсили, чтобы обратить на себя внимание. Были тут и из нашего госпиталя ребята. Они здоровались и быстро уходили, оставляя нас в покое, пробовали и тех двоих урезонить, да куда там! Они от уговоров только распалялись в поганстве своем, куражились и наглели все больше.

Я знал, чем все это может кончиться. Я уже целился глазами на железную ось от телеги, стоящую в углу возле ворот. Лида обернулась, тоже увидела ось, бледнеть начала и шевелить губами беззвучно: «Не надо, Миша! Не надо!..»

Слава богу, постовой вмешался.

— Шо вы к человеку привязались, га? — заорал постовой на двух блатняг.— Ну, шо? Мабуть, у людей горе? Гэть до помещенья!

Солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли вразвалку, цыркая слюной, почесываясь и вихляясь.

— И шо тильки безделье з чоловиком не зробыть? — как бы оправдываясь за всех, говорил охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго-официально: — Дозволяю выйти за ворота на скамейку.

Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, уставившись себе под ноги.

По улице густо валил народ, все больше военный. Но уже и легко одетые девушки ходили. Какие красивые здесь на Кубани девушки, только полнеть начинают

рано. Это от хорошей еды, наверное, от фруктов. Я когда-то успел сломить ветку с клена, что рос над скамейкой. Почки уже клеились к пальцам, и радио где-то, с какой-то крыши играло про весну.

— Миша! — позвала меня Лида, но я не сразу услышал ее, я где-то далеко от нее и от себя был, и она потрясла меня легонько за плечо: — Миша!

— А!

— Миша, что с тобой? Ми-иша! — Лида поднесла руку ко рту, закусила палец, а потом опять принялась трясти меня: — Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!

Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку, скажу, что мне плохо без нее, без Лиды, и что рана у меня открывается, и что не таким бы мне хотелось быть перед нею, какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, удалым молодцем, о котором я все время рассказывал ей в своих сказках. И если бы я в самом деле был им, этим сказочным повелителем, я бы велел всем, всем людям в моем царстве выдавать красивую одежду, особенно молодым, особенно тем, кто ее никогда не носил и впервые любит... и если не навсегда, то хоть на день остановил бы войну.

Но я солдат, нестроевой солдат, остриженный, как и все солдаты, наголо, и сказки нет больше, сказка кончилась. Не время сейчас для сказок.

— Лида, тебе лучше уйти, — сказал я и поднялся со скамьи. — Привет матери передавай! Умная она у тебя женщина. И очень тебя любит. Береги ее.

— Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо...

— Уходи, Лида!

Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила, или губы у нее дрожали: невозможно было понять. Я наклонился к ней, и до меня донеслось:

— Миша, я боюсь за тебя! Миша, я боюсь тебя тут одного оставить. У тебя в глазах что-то...

— Прошу тебя, Лида, иди! — Я отбросил завязанную узлом кленовую ветку, закусил губу и поднял глаза к небу. — Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, — попытался пошутить я. Но шутки не получи-

лось, голос у меня осекся, и я легонько повернул ее от себя. — Прошу тебя...

Она послушно пошла от меня, по-старушечьи ссутулившись. Я почувствовал — Лида вот-вот обернется.

— Пожалуйста, не оглядывайся.

Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась... и все-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня.

— Да уходи же ты! — заорал я, оттолкнув постового, и вбежал во двор.

Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слезы. Потом я лежал просто так, обессиленный слезами, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель. Я подумал, что ее намереваются спереть два тех блатняка — они могут и последнюю шинель солдата на пропой пустить, — и резко поднялся.

— Курни, солдат. — Из темноты ко мне протянули светящийся окурок.

Я залпом выхлебал дым из бычка — ожгло даже губы.

— Убили кого-нибудь? — спросил меня из темноты тот, что давал докурить.

— Убили...

— Когда только и конец этому будет? — Вздох, молчание, а спустя время — тихий, добрый совет: — Спи давай, парень, если можешь...

Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то под утро заснул. Днем я вышел в строй и с первым попавшимся «покупателем» уехал на Украину. Оттуда было ближе добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, не помышлял оставаться — еще могу пока бегать, стрелять, работать, а кирпичи таскать да рельсы либо мыло варить и без меня кому найдется.

Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было.

Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, рассеялось и чувство за-

давленности, одиночества, все входило в свои берега. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла; а потом, показалось, и вовсе истлела, навсегда, насовсем.

Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка, а я все думаю: «А может, встречу? Случается же, случается!» И знаю ведь — ничего уже не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь...

Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша — российская. Утеряешь человека и не вдруг найдешь.

Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже об тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной и ему становится легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою — ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал «горьким». Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье.

Вот обо всем этом я часто думаю, когда остаюсь один, остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный наш поэт, лучше, глубже и пронзительней всех нас умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя светла...»

В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам.

1960—1972 гг.


25 коп.